





SHOUT
SHARE IT

Annotation

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839—1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

- [В. Я. Классен](#)

- ☐
- ☐ [Предисловие](#)
- ☐ [Глава I](#)
- ☐ [Глава II](#)
- ☐ [Глава III](#)
- ☐ [Глава IV](#)
- ☐ [Глава V](#)
- ☐ [Глава VI](#)
- ☐ [Источники](#)

- [notes](#)

- ☐ [1](#)
- ☐ [2](#)
- ☐ [3](#)
- ☐ [4](#)
- ☐ [5](#)
- ☐ [6](#)
- ☐ [7](#)
- ☐ [8](#)
- ☐ [9](#)
- ☐ [10](#)
- ☐ [11](#)
- ☐ [12](#)
- ☐ [13](#)

В. Я. Классен
Фердинанд Лассаль. Его жизнь,
научные труды и общественная
деятельность

*Биографический очерк В. Я.
Классена*

*С портретом Лассаля,
гравированным в Лейпциге Геданом*



Предисловие

В конце прошлого и в начале нынешнего столетий Германия произвела на свет не одного великого деятеля в области умственной и общественной жизни, – деятеля, имевшего глубокое влияние на развитие мысли и жизни также и других стран. Кант, Фихте, Гегель, Гёте, Шиллер, Фейербах, Гейне, Берне, Маркс – этот краткий перечень имен уже достаточно показывает, что подарил миру народ, недаром названный «народом мыслителей». Среди них есть гении, быть может далеко превосходящие по интеллектуальным силам Ф. Лассалья, но среди них нет ни одного, кто в такой короткий промежуток времени совершил бы так много, приобрел бы такое сильное влияние на общественную жизнь и общественную мысль своей страны.

И неудивительно. Все то, что в отдельности способно создавать и создавало многим блеск и славу, было гармонически соединено и тесно сконцентрировано в нем одном: глубокий, необыкновенно живой ум мыслителя вместе с обширной эрудицией в различных сферах, железная энергия и непреодолимая сила воли, блестящий талант необыкновенного оратора, способность жертвовать собой за свои убеждения – все это, вместе взятое, и дало ему возможность в несколько лет создать крупные работы в разнообразных областях знания, распространить свои идеи во все концы цивилизованного мира, разбудить к политической самостоятельности рабочие массы Германии и сделаться вождем рабочей партии, оставив тут, как и в политической жизни всей страны, глубокие следы на долгие годы...

Необыкновенно изящный, стройный и красивый, с головою античного римлянина, общительный и жизнерадостный, как древний эллин – сын жизнеобильной Эллады, – он не был ригористом и в личной жизни, пользуясь всеми благами и дарами ее, жадно срывая цветы наслаждений. И он сделался почти что волшебным принцем и сказочным героем в воображении современного ему общества. Он воспевается в песнях и в поэмах, а жизнь его стала сюжетом для многотомных романов.

Но такая слава пришла к Лассалю не только после его смерти. И при жизни – сравнительно короткой – ему пришлось пережить такие триумфы и почести, какие редко выпадают на долю даже самых замечательных людей, обязанных своим положением самим себе. Будучи еще юношей, он пленял уже многих выдающихся людей того времени. Гейне называет этого двадцатилетнего юношу «суровым гладиатором», в сравнении с

которым он – «лишь скромная муха». И это говорит сорокасемилетний боец, величайший скептик, «Аристофан XIX века». Знаменитый старец Александр Гумбольдт называет его «чудо-юношей». Академик Бёк пророчит ему великое будущее. Впоследствии даже Бисмарк перед всем рейхстагом отзывается о нем как об «одном из одареннейших и любезнейших людей, с какими он когда-либо встречался».

Но как ни велико было увлечение им, как ни сильно уважение и преклонение перед ним одних – едва ли меньше людей питали к нему смертельную ненависть и беспощадную злобу, – это конечно были преследуемые им враги его. Личность Лассалья принадлежала к числу тех, мимо которых никто не может пройти равнодушно.

Обстановка и условия времени, в которых пришлось ему жить, вопросы, бывшие тогда злободневными, наложили на Лассалья свою резкую печать, но он не умер вместе с ними. «Спартак» Джованьоли, Гамлет, Уриель Акоста, мальтийский рыцарь Поза всегда будут воодушевлять людей, потому что вместе с мимолетными чертами законченной исторической эпохи в них воплощен отклик на вековые вопросы жизни...

Считаем, однако, нужным предупредить читателя, что мы не присоединим своего голоса к тому или к другому хору, что мы не собираемся писать апологию Лассалю или идти походом на него. Его личность принадлежит уже истории, а она не знает пристрастий. Мы хотим беспристрастно изобразить Лассалья таким, каким он был в жизни, со всеми его значительными достоинствами и мелкими многочисленными недостатками.

Глава I

Семейная обстановка.– Дневник.– Гимназия.– Образ жизни.– Фердинанд —общий советчик.– Самолюбие и впечатлительность мальчика.– Детские мечты.– Коммерческое училище.– Жизнь в Лейпциге.– Чувство дружбы.– Первая любовь.– Чтение.– Грезы о будущей деятельности.– Завершение школьного периода.

Фердинанд Лассаль родился 11 апреля 1825 года в Бреславле, главном городе восточной провинции Пруссии, в скромной еврейской семье. Отец его, Гейман Лассаль, зажиточный купец, торговавший шелком и ткацкими изделиями, был человек очень умный, представительный и красивый. В Бреславле он пользовался всеобщим уважением за свою честность и прямоту. По характеру горячий и вспыльчивый, он был, однако, чрезвычайно добрым и глубоко любящим отцом. Мать – женщина, по-видимому, простая, хотя и взбалмошная, сварливая, но тем не менее очень добрая, – была известна всему городу своей благотворительностью. Детей своих, в особенности же Фердинанда, она страстно любила. У Фердинанда были две сестры: старшая, Фридерика – гордая, замечательно красивая, живая, пышущая здоровьем девушка; и другая, по возрасту средняя между Фридерикой и Фердинандом, умершая очень рано. В своей небольшой семье они приютили также сироту Эмилию, которая, впрочем, была членом семьи лишь наполовину: она исполняла также обязанности и прислуги, несмотря на то что в доме было две служанки. Нельзя сказать, чтобы в этой семье всегда царила мирная, спокойная жизнь. Сварливая хозяйка дома, которая к тому же была несколько глуховата, очень скоро раздражалась от всяких пустяков и часто сердилась на мужа, уходившего ежедневно после обеда в «Купеческое общество», членом которого он состоял. Между нею и мужем, а также между родителями и детьми нередко происходили ссоры и домашние сцены. Сестра и брат, в свою очередь, очень часто были не в ладах. Тем не менее, как это нередко бывает в обычной семье, все они друг друга горячо любили. Дом их отличался гостеприимством, и целая масса родственников, друзей и знакомых часто посещали их. Но нельзя утверждать, чтобы тут господствовали духовные интересы. Мы нередко встречаем эту семью проводящую досуги за картами, всего же чаще – в разговорах о последних городских новостях и т. п. На всем лежит печать узкого кругозора, мелкой суетности будничной жизни. Это, впрочем, очень понятно, в особенности если мы вспомним,

что дело происходит в купеческой семье тридцатых годов XIX века, в провинциальном городке. К первым впечатлениям *духовной* жизни маленького Фердинанда надо поэтому отнести проповеди еврейского раввина. В то время в еврейской общине Бреславля существовал раскол между последователями строго ортодоксального ритуала и свободомыслящим течением. К последнему-то и принадлежала семья Лассалья, не отличавшаяся фанатизмом и ревностью к обрядам. Главою свободомыслящего направления был раввин доктор Гейгер – человек, по словам Линдау, очень умный и обладавший в высокой степени даром слова. Он же был и одним из самых близких друзей дома Лассалья. Родители исправно посещали каждую субботу синагогу, где Гейгер произносил проповеди. Очень часто брали они с собою маленького Фердинанда, который и сам охотно отправлялся туда. Эти проповеди, пронизанные гуманным духом, производили на мальчика глубокое впечатление, так что он иногда коротко записывал слышанное им в своем дневнике. Он дал себе слово никогда не пропускать эти проповеди и очень сожалел, если болезнь или какое-либо другое обстоятельство мешали ему присутствовать на них. Таковы были первые впечатления маленького Фердинанда. Он был мальчик рослый, стройный и гибкий, с особенно смелой, гордой поступью, с бросающейся в глаза круглой головой, покрытой пышной шевелюрой каштановых локонов, высоким лбом, совершенно прямым носом, выразительными, почти женскими, губами и пленительными большими темно-голубыми глазами. Его отдали сначала в так называемую «реформистскую» гимназию, откуда впоследствии он был переведен в гимназию Св. Магдалины. Будучи в пятом классе, Лассаль начинает с первого января 1840 года писать дневник, который ведет вплоть до лета 1841 года. Этот дневник служит самым главным и богатейшим источником для характеристики его отроческих лет, имевших решающее влияние на все будущее развитие этого мыслителя и агитатора. От первой и до последней строки эти записки дышат необыкновенной честностью, поразительным прямотушием и искренностью и очень ценны с психологической стороны. В них с удивительной ясностью чувствуется, как мало-помалу раскрываются юные силы и созревают в цельное дарование, как блуждающий вслепую мальчик вырастает в отважного юношу с совершенно выкристаллизовавшимся характером, с умом и силой воли вполне взрослого человека, сознательно идущего по избранному однажды пути.

Свой дневник, весь усыпанный искрами остроумия, Лассаль начинает вступлением, где заявляет, что на эти страницы он

будет заносить «все свои поступки, все ошибки и добрые дела и не ограничится простой передачей фактов, а будет приводить также и их мотивы – и все это с полнейшей добросовестностью и откровенностью». Беря как эпиграф шиллеровские слова: «Ведь только к истине он и стремится», юный автор следующим образом объясняет нравственное значение своего дневника: «Для каждого человека весьма желательно изучить собственный характер. Как в романе легко узнать по действиям и разговорам характер выводимых лиц, так всякий человек, не ослепленный самолюбием, может почерпнуть такое же знание и из своего дневника, написанного строго и добросовестно». «И если я, – продолжает он, – совершил дурное дело, то разве я не покраснею, отмечая это в дневнике? И не покраснею ли я еще более, если потом стану перечитывать это?» Так начинает свои записки этот мальчик, не достигший еще пятнадцатилетнего возраста. И как впоследствии в зрелые годы, так и здесь приковывает он внимание к беглым строкам, повергая вас в удивление своей сложной, огненной натурой, в которой жизнь бурлит и бьет ключом. Он поражает своим, иногда прямо стариковским, умом и практичностью наряду с детским легкомыслием и ребяческими выходками.

Лассаль как ученик Бреславльской гимназии был донельзя плох и ленив, нередко он пропускал уроки. Заноса в дневник все мельчайшие подробности своей жизни, он почти ни разу не упоминает о домашней работе для гимназии. Он готовил заданную на дом работу в самой гимназии во время уроков, отчего редко бывал внимателен. Письменные упражнения он часто списывал у товарищей, негодуя, если кто-нибудь из них отказывался дать ему свою тетрадь. Фердинанд отличался к тому же вздорностью и некоторой заносчивостью, обусловленной сознанием своего превосходства над товарищами. Часто происходили у него столкновения с учителями, на которых он смотрел как на заклятых врагов. От учителей, конечно, не могли ускользнуть блестящие способности мальчика, необыкновенная быстрота понимания и усвоения, его огромная память и выдающийся ум. Но как же они относились к своему даровитейшему воспитаннику? Они ограничивались лишь строгими гимназическими требованиями, ожидая от него успехов, со своей стороны ровно ничего не делая для этого, ни на одну минуту не задумываясь о том, что не ребенку нужно приспособляться к ним, а они должны знать, с какой стороны лучше подойти к нему, чтобы дать надлежащее направление дремавшим в нем силам. Между учителями не было ни одного, кто сумел бы вызвать в нем любознательность, заинтересовать его

своим предметом. Лассаль был мальчик в глубине души очень добрый, отзывчивый, искавший любви, но ранимый и крайне самолюбивый. Только добрым, ласковым отношением к нему можно было влиять и воздействовать на него. Но ни один из учителей не сумел или не захотел обратить внимание на эту сторону его характера. Мало того, некоторые из них находили даже особенное удовольствие в том, чтобы оскорблять при всем классе его самолюбие, раздражать и унижать гордого мальчика. В особенности преследовал его учитель латинского языка и классный наставник Чирнер. Так, однажды, когда Лассаль не ответил на один незначительный вопрос, он грубо ругал его при всех и издевался над ним. Вечером мальчик записал в своем дневнике: «Щеки мои налились кровью. Я плакал, я рыдал. Из-за такой мелочи так грубо накинуться на меня, так оскорблять и унижать меня. Но терпение, терпение, – и наступит пора!..» В другой раз Чирнер задал выучить наизусть некоторые места из Цицерона. Лассаль, хорошо подготовившийся, с нетерпением ждал, чтобы его спросили, и очень радовался, когда очередь дошла до него. Но Чирнер опять-таки продолжал придирается. Когда же наконец Лассаль дошел до места: «et liberos tuos, nepotes Quinti Fadii» («и детей твоих, потомков Квинта Фадия»), Чирнер поправил его: «Цигия Фадия!» «Квинта Фадия!» – повторил Лассаль с особенным ударением: он был прав. «Он, – пишет Лассаль в своем дневнике, – прикусил губы – верный знак, что он взбешен, – и велел мне замолчать, прибавляя: „Скверно, очень скверно!“ Тут уже и меня охватила неудержимая ярость. Я плакал; это была несправедливость, подобная которой редко встречается, что подтвердили мне все окружающие. В тот момент я готов был упиться его кровью». Что же удивительного в том, если Лассаль в другом месте дневника пишет: «Мое положение в школе становится все более несносным. Все чаще и чаще ищет Чирнер случая, чтобы унижать меня и делать смешным в присутствии всего класса. И та горечь, которую оставляет во мне всякий такой случай, еще более усиливает мою лень». С особенной любовью повторяет он – и не без основания – стих Овидия: «Я варвар здесь, потому что меня никто не понимает». Отметки у него были, конечно, плохие. Любя отца трогательной любовью, он не решается огорчать его своими плохими успехами, а потому... подделывает в своих тетрадах с отметками подпись матери. Когда же от него потребовали принести непременно подпись отца, легкомысленный мальчик не задумываясь подделывает и отцовскую подпись, и, заноса это исправно в дневник, шутит: «Таким образом, я на другой день принес подпись отца, то есть собственно мою, так как я сам, смотря по

надобности, – отец, мать и сын». Однако мысль, что это может когда-либо обнаружиться и причинить страшное огорчение любящему и любимому отцу, часто вызывает в добром мальчике укоры совести и нравственные страдания. Но Фердинанд умеет легко забывать свои проделки. Он любит хорошо одеваться, часто ходит в театр, отлично танцует и на вечерах производит фурор – даже у таких солидных дам, которые и близко не подпускают к себе других подростков. С приятным чувством заносит он в свой дневник, что, будучи на семейном маскараде наряжен ангелом, он одержал победу в соревновании с другим таким же обитателем надзвездных краев. Трудно себе представить, какую беспорядочную и рассеянную жизнь ведет наш юный бездельник. В продолжение дня он успевает по несколько раз играть и в карты, и на бильярде, и в шахматы, побывать в нескольких кондитерских, – и всюду играет с увлечением и не без расчета. Его дневник весь испещрен зильбергрошами, отчетами о своих выигрышах и проигрышах, хотя последние не так часты: он, очевидно, играл мастерски, а в некоторые игры – прямо артистически. Он обыгрывает и своих товарищей, и бородатых знакомых, и мать, и отца. Зильбергроши так и циркулируют у него во всех направлениях. А нуждаясь в них, он спекулирует и предпринимает целый ряд финансовых операций: продает книжки, меняет вещи, опять продает и опять меняет. И во всех этих проделках высказывается изумительная практичность, неприятно поражающая вас в этом гениальном отроке. Но что было делать, чему лучшему научиться неокрепшему, чувствующему избыток сил, подвижному мальчику, предоставленному самому себе, среди пошлой, мелкой суеты немецкого провинциального города того времени? Он и сам это сознает и часто упрекает сам себя. «Не знаю, как это выходит, – пишет он однажды, – я играю каждую субботу на бильярде, что отец мне так строго запрещает, сам подписываюсь под своими отметками, что также очень дурно, и однако люблю своего отца до экстаза. Я бы с радостью пожертвовал ради него своей жизнью, если бы только это могло быть ему полезным, и однако... Но это вытекает из моего легкомыслия... В глубине души я все же добр...»

Через весь дневник мальчика красной нитью проходит это горячее чувство привязанности к своим родным и в особенности к отцу. Пламенная любовь юного энтузиаста к нему производит глубоко трогательное впечатление. Зато и родители относятся к Фердинанду с особенной любовью. Мальчик занимает в семье положение вполне взрослого члена, со взглядами и мнениями которого считаются всегда, даже в самых серьезных и

затруднительных семейных делах. Например, в таком важном вопросе, как замужество его старшей сестры, мать часто обращается к своему любимцу за советом, как лучше поступить в том или другом случае, а отец подолгу советуется с ним наедине. И тут опять-таки обнаруживается такая житейская практичность и старикинская деловитость, что читатель невольно задает себе вопрос: «Да неужели это пишет пятнадцатилетний мальчик?» Часто, как уже было упомянуто, происходили в семье Лассалья ссоры и недоразумения, и в большинстве случаев Фердинанд играет роль миротворца, что ему, при его уме, практичности и любви к нему окружающих, часто удается. Но не только в собственной семье голос его имеет такой вес. Уже в эти годы Лассаль имеет много взрослых друзей, которые не только говорят с ним обо всем как с равным, но и часто обращаются к нему за советом. Доктор Шифф и Борхерт, человек очень даровитый, будущий депутат рейхстага и политический деятель, считают его своим другом. Первый советуется с ним в своей любовной истории, и мальчик дает указания, какой политики ему держаться, чтобы приобрести расположение любимой женщины, выражаясь, между прочим, так: «Эту крепость можно скорее всего взять штурмом». И тот следует его совету. Борхерт же серьезно рассуждает с ним о его призвании и других важных вопросах. Между прочим, этот же приятель его первый предугадал будущую роль и значение Фердинанда, причем имел неосторожность, как и все окружающие, открыто высказывать мальчику свое мнение о нем. Борхерт прямо ему говорит, что он «гениален, и будет очень жалко, если его ум получит дурное направление». Лассаль, записывая это в свой дневник, продолжает: «А Борхерт такой человек, которому я могу верить больше, чем кому-либо другому, так как он никогда не льстит. К тому же он в высшей степени одарен тем, что французы называют *sens commun* (здравым смыслом). Доктор Шифф также уверял меня в этом... Буду этому верить и я», — прибавляет он лукаво. Такие мнения ему приходилось слышать со всех сторон. У дам он имеет, конечно, большой успех, они дивятся ему и осыпают его комплиментами. Все это, вместе с тем положением, которое Фердинанд занимает в семье, раздувает в необыкновенно даровитом мальчике самомнение и тщеславие. Вы находите, например, в его дневнике следующее выражение об одном молодом человеке, гораздо старше него: «Осел этот! Как будто он может поднять ко мне взор свой, хотя бы он был и втрое выше, чем теперь». Непомерным самомнением и тщеславием объясняется также и его дерзость в обществе, где он является опасным для всякого гостя, который почему-либо попадал к нему в немилость. И горе тому, если он не

отличается остроумием и находчивостью, чтобы парировать его удары! Юноша набрасывается на него со всей силой своего острого сарказма и ядовитой иронии, где каждое слово – жало, которое тем более язвит, чем оно тоньше. Такая неравная борьба обыкновенно длилась до тех пор, пока Лассаль не вынудит побежденного предложить мир. Другим он читает нотации, насквозь пропитанные иронией. Он вполне искренно удивляется, что его товарищи, которые, как он должен сам признаться, «стоят далеко ниже него (гораздо ниже!) по таланту, гению, сообразительности, уму, духу, – получают хорошие отметки, между тем как его отметки неудовлетворительны».

Но чем больше окружавшие лица развивали в мальчике самомнение, тем больнее отзывалось в его впечатлительной душе то грубое обращение с ним, которое позволяли себе его учителя, а иногда и отец. Вот для примера один домашний эпизод. Отец был постоянно очень недоволен тем, что Фердинанд много тратит на костюмы, и решил ни за что не поощрять этой наклонности в нем, находя ее вредной и суетной привычкой. Из-за этого у них часто происходили ссоры. Однажды отец, как человек вспыльчивый, позволил себе даже поколотить его. «Я не позволю вам меня бить!» – вскричал Фердинанд. Отец еще больше вспыл и вторично накинулся на него. Фердинанд моментально успокоился, вытер слезы и упорно-насмешливым взглядом отвечал на всякое слово отца, а затем совершенно спокойно вышел, решив тотчас же лишиться себя жизни. Но в тот самый момент, когда он уже был готов броситься в воду, отец, последовавший за ним, остановил его, дав ему потом возможность остаться одному, чтобы успокоиться. Через полчаса добрый мальчик уже жестоко упрекает себя за свой поступок, приходя в ужас при мысли, сколько горя доставил бы он своим горячо любимым родителям. «Однако, – прибавляет он в дневнике, – я хотел сегодня непременно сделать что-нибудь дурное», и не прошло часа, как он уже заглушал свое оскорбленное самолюбие в карточной игре. Но впечатлительный, быстро приходящий в бешеную ярость Фердинанд, как мы уже сказали, скоро поддавался ласковому голосу и просительному тону и всегда уступал любимому отцу, если тот действовал добрым словом. Вполне откровенный, как всегда, он признается и в этом. «Добром вообще легко мной управлять. Если бы отец мне строго приказал, я не так бы скоро его послушался, – говорит он по одному поводу в дневнике, – а мой отец так добр и нежен, как, наверное, редкие отцы. Иногда, когда он остановит на мне свой взгляд, в его глазах отражается печать такой чистой отцовской любви, что у меня невольно является мысль: он достоин более

послушного сына».

Уже сейчас, в период незрелости и формирования характера, выделяются все те особенности его характера и «сангвинического темперамента», – как определяет его сам юноша, – которые потом сделаются отличительными чертами зрелого борца. Все резче и определеннее выступает самобытная натура этого могучего орленка, расправляющего свои крепкие крылья. Для него уже в эти годы как будто не существовало средних, ровных, спокойных чувств, – чувствовать наполовину он с самого раннего детства не умел. Добрые и злые наклонности так и чередуются в этой огненной натуре. Горячая любовь и пламенная ненависть, трогательная нежность и страстная ярость, презрение к несправедливости и угнетению и необыкновенная самоуверенность и самомнение – все это уместается в одной пылкой груди, часто переплетаясь и сталкиваясь. По отношению к угнетателям и несправедливости у него нет другого принципа, как библейское – око за око, зуб за зуб. И он дает себе страшные клятвы, что до тех пор не успокоится и не забудет оскорблений, пока не отомстит за них. По адресу жениха Фридрики, желавшего, очевидно, жениться на ней по расчету, а когда это не удалось, показывавшего всему городу письма своей невесты, он пишет: «Проклятие ему! И через двадцать лет я ему этого не забуду и отомщу за поруганную честь моего любимого отца». А в другом месте относительно того же: «Эта ненависть моя никогда не уляжется! Смерть ему! Нищета! До последней минуты моей жизни я буду желать ему уничтожения и, клянусь Богом, не останусь при одном желании! Сам буду способствовать этому!..» Но и этого мало: «Страшное проклятие мне самому, если я успокоюсь, прежде чем отомщу, прежде чем смертельно отомщу этой собаке за честь моей сестры, моего отца! Хочу быть проклятым на этом и на том свете, если я когда-либо забуду оскорбление. Проклятие мне, если я не удесатерю ему тех страданий, которые он доставил моему отцу, моей сестре! Господи, услышь меня!»

Конечно, сильные чувства, проснувшиеся в такую раннюю пору, никогда не знают меры. Но эта горячность и страстность объясняются отчасти также и тем, что детское воображение склонно к преувеличениям. Тем не менее Линдау прав, когда говорит, что эти слова невольно напоминают ему того же Лассалья, только не 1840 года, а 1864-го в Изерлоне, на собрании нескольких тысяч рабочих, когда, стоя у ораторской кафедры с сверкающими глазами и приподнятой кверху правой рукой, он громовым голосом восклицает: «Вот что, рабочие, сделала для вас буржуазная прогрессистская партия. Клянитесь мне, клянитесь,

что вы им этого не забудете!»

Не менее глубока его восторженная любовь к друзьям. Так, он очень сильно привязался к своему товарищу Исидору Герстенбергу. Этот семнадцатилетний юноша был одарен ясным и сильным умом, добрым характером, и Лассаль чувствовал к нему глубокую и искреннюю симпатию. «Какое наслаждение иметь друга, который мог бы вникнуть и понять тебя! Я имею такого друга в лице Исидора», – пишет он в дневнике, называя Герстенберга в другом месте своим «вторым Я». В феврале 1841 года, получив известие, что Исидор собирается переселиться в Манчестер, Лассаль оплакивает судьбу, разлучающую его с лучшим другом, но утешает себя в следующих восторженных строках: «Если мои прекраснейшие мечты, которые я не могу доверить даже *этим* страницам, осуществляются, тогда и Исидор, связав свою судьбу с судьбой своего друга, будет бороться вместе со мной, и мы победим; ибо мы должны победить в той борьбе, которую я хочу предпринять! Свет должен победить, а мрак – исчезнуть! Восторжествует рассудок, божественный разум, и его сверкающие молниеносные лучи уничтожат человеческое суеверие и глупость, как день уничтожает ночь!» Но если Фердинанд остался клятвенно верен своим отроческим грезам, то друг его, – сделавшийся впоследствии крупной величиной в промышленном и финансовом мире, – не пошел за ним, да и едва ли он и давал такое обещание. Кроме Герстенберга, у него были и другие друзья, отношения к которым с разных сторон характеризуют нашего героя, но о них нам придется поговорить после.

Мы до сих пор описывали лишь внешнюю жизнь и обстановку, окружавшую нашего отрока, подмечая лишь некоторые черты его нравственной и умственной физиономии. Но как ни легкомысленна была его жизнь в эти ранние годы, читатель ошибется, если подумает, что этими, и только этими, ребяческими шалостями и подмеченными нами чертами его характера ограничивается нравственный и умственный облик юного Лассаля. У мальчика была своя заветная, внутренняя жизнь, глубокий духовный мир. Но он редко позволял кому-нибудь заглянуть в его тайники. Едва ли это вытекает из его убеждения, что он – римлянин среди варваров, как писал о себе любимый им Овидий, так как даже страницам дневника, куда он решил всё вносить, он не доверяет ключей от потаенных врат своей святой обители. Но Лассаль – слишком живая, впечатлительная, горячая натура, чтобы у него там и сям не прорывались наружу его затаенные думы. И, вырвавшись во внезапном порыве страстного чувства, они открывают нам совсем

иной мир, бросают яркие лучи света на такие черты его души, которые были совершенно невидимы за легкомысленными поступками и ребяческими проказами неукротимого забияки. И перед нами все чётче вырисовывается симпатичный образ рано созревшего мальчика, способного беззаветно отдаться идее и пожертвовать собою ради нее, ради того, что он считает великим и святым, уже один тот факт, что Лассаль родился евреем, должен был, без сомнения, иметь немалое влияние на ход и характер его развития. Не следует забывать, что родиной его была восточная Пруссия, где до 1848 года евреи не пользовались полными правами гражданства. Исключительное положение их перед законом и в обществе тяжело отзывалось не только на бедных слоях еврейского населения, но и на его состоятельных членах. Этот гнет и сознание своей принадлежности к презираемому и гонимому племени не могли не вызвать в душе гордого, необыкновенно рано развившегося мальчика упорного сопротивления, доходившего, при его страстности, до фанатизма.

В феврале 1840 года, когда, следовательно, Лассалью еще не исполнилось и пятнадцати лет, он, передавая в дневнике свой разговор с товарищами о смерти, об иудаизме и прочем, роняет следующие характерные слова:

"...И в самом деле, мне кажется, что я – один из лучших евреев, какие только бывают, несмотря на то, что я не обращаю никакого внимания на религиозные обряды. Я был бы способен, как тот еврей в булверовском романе «Лейла», рисковать жизнью для того, чтобы освободить свой народ от его тягостного современного положения. Даже эшафот не устрасил бы меня, если бы я мог опять сделать его *уважаемым* народом».

Но эти грезы и любовь к своему народу нисколько не ослепляют его. Здравомыслящий мальчик, превосходящий гордостью древнего римского патриция, возмущается до глубины души низостью, льстивостью и ограниченностью, встречающимися в собственном его «лагере». Так, говоря об одном еврее, которого он накануне выпроводил из своей квартиры и который на другой же день как ни в чем не бывало опять является к нему, Лассаль восклицает:

«Это превосходит мое понимание. Чувство отвращения охватывает меня, когда я встречаю людей, подобных ему. Глядя на них, я понимаю, почему еврейский народ так презираем: такие господа довели его до этого. Эта низость мысли, это подлобострастие, эта гнусность – фу! какая отвратительная смесь!»

По поводу избиения евреев в Дамаске, в мае 1840 года, он приходит в неистовство и всю силу своего гнева устремляется

не на угнетателей, а на самих же угнетенных:

«О, это ужасно читать, страшно слышать, волосы становятся дыбом и все чувства превращаются в одно чувство ярости! Народ, который это переносит, омерзителен, – если он не способен отомстить, значит, он достоин такого отношения к себе. Справедливы, страшно справедливы слова корреспондента: „Евреи этого города терпят жестокости, которые молча и безропотно могут выносить только эти парии земли“. Итак, даже христиане удивляются нашей инертности, удивляются, что мы не восстаем, не предпочитаем лучше умереть на поле битвы, чем в пытках. Разве угнетение, из-за которого восстали швейцарцы, было большим?.. Трусливый народ, ты не заслужил лучшего жребия! Раздавленный червяк и тот извивается, а ты сгибаешься еще ниже! Ты не способен достойно умереть, ты не знаешь, что такое справедливое мщение, ты не умеешь уничтожать, умирать вместе с врагами и давить их даже в предсмертных конвульсиях! Ты рожден для рабства!»

Два месяца спустя он хватается за дневник специально для того, чтобы хоть в некоторых строках излить накипевшее в нем чувство гнева и мести.

Эти детские мечты его потом быстро проходят, но будущий борец виден в них уже во весь рост. Эти мечты меняются, влияние же их на его развитие остается. Они меняются, но не исчезают, а расширяются по мере расширения его умственного кругозора.

Только изредка упоминается в дневнике Лассалья о книгах, которые он читал. Но эти редкие намеки и цитаты также показывают нам, что его пытливый ум не удовлетворялся одними мальчишескими проказами: чтение для него – нечто само собою разумеющееся, а потому он редко говорит об этом. Будучи постоянно абонирован в библиотеке, он читает Гёте и Шиллера, Шекспира и Мольера, Виланда и Поля де Кока, Ауэрбаха и прочих, иногда поражая вас необыкновенно меткими замечаниями по поводу той или другой книги.

Между тем положение его в школе становится все более и более невыносимым, отношения с учителями все более и более обостряются. Всякий раз, вспоминая подделанную им под отметками подпись родителей, он горячо молился о том, чтобы его обман не обнаружился и был первым и последним в жизни. Отец начинает подозревать Фердинанда, видя, что он скрывает от него свои отметки, и хочет написать по этому поводу директору гимназии. Мальчик испытывает при этом такие муки, что решает покончить с собой, но в последний момент, опять вспоминая о родителях, о том, сколько горя он причинит им своей смертью, изменяет свое решение, следуя, как он замечает, изречению

Вергилия: «Будь твердым в несчастье и сохрани себя для счастья». Придя после этого домой, юноша сам признается отцу во всем и проклинает тот день, когда он впервые, из боязни огорчить отца своими плохими отметками, сам подписался под ними.

Желая выпутаться из своего ложного положения, Фердинанд и прежде, при всяком удобном случае, настойчиво просил отца перевести его в другой город в коммерческое училище, заявляя, что он вообще желает сделаться купцом. Отец, считая мальчика очень способным к наукам, долго не соглашался, но теперь, после того как раскрылись его проделки в гимназии, он решается, вопреки своему собственному желанию, взять его оттуда. И вот, в мае 1840 года мы видим Лассалья в коммерческом училище в Лейпциге. Он был помещен в пансионе директора частного реального училища Гандера, где в первое время чувствовал себя очень хорошо. С большой похвалой и теплым чувством отзывается Фердинанд в своем дневнике о Гандере и в особенности о его жене. Его самолюбию льстит то, что они относятся к нему «не как к пятнадцатилетнему мальчику, а как ко взрослому двадцатилетнему молодому человеку». Но эти мирные и дружественные отношения продолжаются недолго. В Лейпциге, как и в Бреславле, Лассаль очень много тратит на театры, катанья на лодке, на уроки фехтования, плавания и т. д.; но так как ему часто не хватает получаемых из дому денег, то он начинает добывать их своими старыми приемами: продает книжки, занимает у товарищей. У госпожи Гандер, педантичной немки, это не могло не вызвать неприязни. Она его постоянно преследует, за всякую мелочь осыпает его бранными словами и, заподозрив в чем-либо, спешит доносить мужу, настраивая его против Лассалья. Но самостоятельный и самолюбивый юноша не желает терпеть опеку и вмешательства в свои дела, а ее доносы, хитрость и мелочность часто приводят его в ярость. Так загорается его нескончаемая война с директоршей. Сам директор сначала как бы держится в стороне от этой войны, однако в письме к отцу он отзывается о нем как о «выскочке, дерзком, распушенном и вздорном» мальчике. Еще неблагоприятнее складываются его отношения в школе. Положение его здесь еще хуже, чем в Бреславле, несмотря на то, что учится он очень хорошо и не только не пользуется чужими работами, а, напротив, сам делает задания за других. Знания, способности и развитие Фердинанда вскоре после поступления в школу были признаны всеми преподавателями, так что его без всякого экзамена переводят из 3-го класса, куда он был первоначально помещен, во 2-й, высший. Но, несмотря на успехи, директор, как и многие учителя, возненавидели его и обращались с ним крайне грубо.

Эта ненависть к Лассалю вполне понятна. С одной стороны – педагоги старого немецкого покроя, узкие педанты, не видящие ничего дальше своего носа, грубые рутинеры, не способные понять, что они экспериментируют над крайне чувствительными живыми организмами, и обратившие великое дело воспитания и образования детей в шаблонное ремесло; с другой – чуткий, не по летам развитый, сознательный и самолюбивый юноша. И, конечно, эти почтенные жрецы Минервы не могли простить ему его ум, его превосходство над всеми другими, а главное – его самосознание, его чувство собственного достоинства. Они всеми, даже самыми грубыми, способами будут преследовать самостоятельность его мысли и поступков, стараясь руганью и наказаниями подогнать ученика под шаблонные мерки филистерского мышления. Но коса нашла на гранитный камень.

Самым главным врагом Лассалья был директор коммерческого училища Шибе – плохой, вспыльчивый, чрезвычайно грубый воспитатель, которого ненавидели и боялись все ученики. Его главным воспитательным приемом была военная дисциплина, налагавшая свое безапелляционное veto не только на поступки, но и на мысли, выходящие за рамки его личных понятий. Если к этому прибавить педантизм и крайнюю узость интересов, то перед нами живо предстанет известный тип ограниченного немецкого педагога прежних времен. К тому же он особенно недолголюбил евреев. Поэтому можно легко себе представить, как он возненавидел Лассалья, смевшего не только «свое суждение иметь», но и храбро отстаивать его перед всеми, почти всегда, даже в диспутах с наставниками, выходя победителем. И действительно, в сравнении с ним эти наставники и воспитатели были жалки.

«Сегодня Гейшкель (учитель немецкого языка) возвратил нам наши немецкие работы, – пишет Лассаль в дневнике. – Беккер (друг Лассалья) на заданный вопрос: „Как лучше всего можно отблагодарить Бога за полученные милости?“ – отвечает в своей работе: „Не бесплодным бормотанием псалмов и т. п., а добрыми делами“. Эта, конечно вполне справедливая, гипотеза задела ортодоксального Гейшкеля. Так как работа Беккера была написана мною, то моя обязанность была и защищать ее. Я и принял на себя вызов и действительно доказал, что делать добро, благотворно влиять на окружающих – несравненно большая благодарность, чем коленопреклонение, пение и т. п. Так как Гейшкель был разбит, то он не замедлил прибегнуть к обычному средству малодушных людишек: он замолчал и стал думать о мщении. Обиженный учитель потребовал у директора защиты своего авторитета, и тот в сопровождении его приходит в класс.

Старик рассказал мое преступление. Я осмелился утверждать, что осушать слезы бедняков, поступать прекрасно и благородно – лучше, чем твердить длинные-предлинные молитвы, хныкать благодарственные песни и при этом закрывать свое сердце на мольбы ближних. Справедливое негодование против этого безбожного и непристойного взгляда рассердило директора, в его глазах засверкали гневные молнии».

Пожутив хорошенько Лассалья и сделав ему надлежащее назидание за его «безбожие», он уходит со следующими, по выражению Лассалья, «удивительно смешными словами»: «Знай же, если ты еще раз осмелишься высказывать такие мысли, тебя призовут в совет». Первое столкновение его с директором было вызвано просьбой Лассалья дать ему из школьной библиотеки Корнеля и Вольтера, а также желанием изучать английский язык. Шибе находит такое чтение для него преждевременным, а изучение английского языка – излишним; и вообще держится того мнения, что «купец, толкующий о Сократе и Цицероне, идет навстречу своему банкротству». «Какая глупость!», – замечает Лассаль по этому поводу в своем дневнике, и, конечно, совершенно справедливо.

Шибе, очевидно поставив себе целью искоренить в Лассале его самоуверенность и самомнение, выполняет это так неумело и по-медвежьи грубо, что достигает как раз обратного, вызывая в юноше полное неуважение и горячую ненависть к нему и его подобострастным помощникам. Примером его обращения с Лассалем может послужить хотя бы следующий эпизод. По поводу одной совершенно невинной ребяческой выходки, совершенной, впрочем, по словам самого Лассалья, с целью «убедиться, как велика ненависть к нему директора», Шибе яростно набрасывается на него с самыми грубыми ругательствами, вроде «бессовестный лицемер, мошенник». («Я – лицемер!» – удивленно восклицает Лассаль в дневнике). «Держи язык за зубами, не то я тебя за двери вышвырну... Ты получишь от меня такую пощечину, что у тебя голова слетит с плеч долой...» – и заносит руку, чтобы ударить его.

«Меня занимала только одна мысль, – пишет Лассаль, – что я должен делать, если он даст мне пощечину? Должен ли я спокойно принять ее, перенести этот позор перед целым классом, или же ответить ему такой же пощечиной? Но если бы я сделал последнее, что сказал бы мой отец, мой бедный отец, для которого я – единственная надежда и которому я обещал не доставлять огорчений?! Ах, я хорошо вижу, что не сдержать мне в коммерческой школе этого обещания!»

Лассаль не может не видеть своего превосходства над

окружающими, и самомнение его не только не уменьшается, но еще больше растет. Приведем сцену, иллюстрирующую как нельзя лучше его отношение к своим наставникам. К мальчику приехал кузен и задержал его у себя в то время, когда он должен был быть в школе. Кузен написал директору объяснительное письмо, а затем и сам приходил извиняться перед ним. Но ни то, ни другое не умилоствовало педантичного директора; он вызывает Лассалья на учительский совет.

«Я вошел, – пишет Лассаль. – Посредине сидел директор, около него полукругом все учителя. Я стал у самого входа, сложив на груди руки и опустив глаза в землю. Все это время я старался не выдавать ни малейшим движением рта тех чувств, которые попеременно обуревали меня. Ненависть, презрение, насмешка, гнев, печаль, ярость и равнодушие чередовались в моей груди, но я ничем не обнаружил того, что происходило во мне, лишь с большим усилием удавалось мне сохранить спокойное выражение лица, которое так не соответствовало моему настроению; никому бы не пришла в голову мысль, что я стою перед судилищем. „Подойди ближе!“ – раздался голос. Я сделал несколько шагов вперед, сохранив прежнее положение и не удостоив собрание ни единым взглядом. Директор прочел мое так называемое „преступление“ и объявил, что ему нет решительно никакого дела до моего кузена. Тогда началось настоящее представление, которое действительно стоило посмотреть. Шибе, Ширгольц и, что меня больше всего рассердило, Феллер говорили, остальные молчали. Эти же трое не умолкали. Несмотря на невыразимое презрение, которое я чувствовал к ним, мне все же было очень больно. Мне представилось, что я – мертвый орел, лежащий в поле, ко мне слетелись вороны, сороки-воровки и другие презренные птицы, они клевали мне глаза и отрывали мясо мое от костей... Но вдруг – я опять стал двигаться, жизнь возвратилась ко мне, и я расправил свои шумящие крылья. С карканьем разлетелись вороны и сороки, а я воспарил высоко, к самому солнцу...»

Его приговорили к трехнедельному домашнему аресту, но он нисколько не падает духом и пишет в дневнике:

«До сих пор я питал надежду остаться здесь только до Пасхи. Теперь же я твердо решил окончить полный курс: я не боюсь Шибе... К назначенному мне наказанию я отношусь вполне равнодушно. Еще равнодушнее – к мнению Шибе, Ширгольца и других обо мне», – и тут же прибавляет стих Овидия: «Я варвар здесь, потому что меня никто не понимает».

Но не ко всем учителям он относился одинаково; так, он выделяет из их среды учителя математики Гюльсе. Этот

преподаватель недолго оставался в школе, но Лассаль, как и все остальные ученики, очень жалел об уходе его из школы. По окончании последнего урока Лассаль, по особенному настоянию товарищей, произносит в честь него речь от имени всего класса. Это была первая речь (19 декабря 1840 года), произнесенная знаменитым оратором.

«О чем я говорил, – пишет он в дневнике, – я уже не помню; так как я принужден был говорить экспромтом, это было вдохновение минуты. Но растроганность Гюльсе, одобрение и благодарность всего класса свидетельствовали мне, что я хорошо справился со своей задачей».

Отношение товарищей к Лассалю было в первое время очень плохим, о чем он часто жаловался в своем дневнике. Но впоследствии он сумел приобрести себе среди них близких друзей. «Если бы меня не поддерживала твердая вера в самого себя, я сделался бы мизантропом. И что же, как раз те, которые прежде больше всех смеялись надо мною, теперь сделались моими лучшими друзьями», – пишет он. Особенно подружился Лассаль с В. Беккером, к которому чувствовал нежную и глубокую привязанность, хотя насмешливый Беккер и называл эти чувства его друга экзальтацией. Это различие в их взглядах на дружбу глубоко огорчало Лассалья.

«Сегодня Гейшкель вернул мне мою немецкую работу о „правилах дружбы“, – пишет он. – В ней я глубоко задел весь класс филистеров и глупых теоретиков. Не установлением постоянных правил дружбы занимаюсь я в этой работе, а, напротив, осмеиваю и горячо нападаю на тех, которые хотят предписывать правила даже нашим чувствам. Как только вошел Гейшкель, сейчас же весь класс потребовал, чтобы моя работа была прочтена вслух. Гейшкель вступил было сначала со мной в спор, из которого, однако, я вышел победителем. Но некоторые называли меня эксцентричным за мои идеалистические понятия об истинной, благородной дружбе. Бедные! Если они теперь так рассудительно говорят о дружбе – что же они скажут о ней в 50 лет? Если они теперь – юноши, едва вступившие в жизнь, – способны только к пошло-мещанской дружбе, какими же узкосердечными сделаются они, будучи убелены сединами? Я жалею их, этих людей, рождающихся уже старыми, рассудительными филистерами!.. Но мне было больно, что мой друг В. Беккер находился между теми, которые называли эксцентричностью мое благоговение перед словом „дружба“. И все же, если бы он знал, как грубо эта шутка задевает самые нежные струны моей души, он бы не позволил себе ее. Не за себя мне больно: мне больно, что я должен хоть на одну минуту

причислить его к обывательской расе».

Между прочим, это высокое мнение о дружбе сохранилось у него на всю жизнь. Он всегда оставался верен своим друзьям, всегда всеми силами поддерживая и помогая им советом, деньгами и делом.

В Лейпциге Лассаль испытал и первое юношеское горячее увлечение. Предметом его нежного благоговения была прелестная Розалия, сестра его близкого товарища Цандера, и время, которое он провел с нею и Беккером, было самым светлым в его лейпцигской жизни, о чем он часто вспоминает в дневнике. Лассаль написал ей множество писем и, разумеется, посвящал стихи. Все это сберегла она до самой своей смерти. Лассаль же, со своей стороны, всегда сохранял теплое чувство и приятное воспоминание о ней и даже пытался разыскать ее во время своего последнего пребывания в Лейпциге, двадцать пять лет спустя, но тщетно. Отношение юноши к любви вообще было чистым и искренним. Его эстетическую натуру оскорбляет низменно-чувственный взгляд его товарищей на женщин.

«Я ни за что не смог бы пойти к продажной женщине; я должен быть очарован красотой женщины; я должен любить или, что одно и то же, хотя бы думать, что люблю; я могу иметь желание обладать только одной женщиной, но никогда не мог бы следовать низменным животным побуждениям. Это было бы для меня слишком грубо. Но я бы не упрекнул того, кто желал бы обладать женщиной, которую любит, и всеми зависящими от него средствами – разумеется, честными – стремился бы достигнуть этого».

На окраине Лейпцига есть огромное озеро с идиллическим островком. Сюда часто отправлялся Фердинанд в минуты поэтического вдохновения, просиживая иногда здесь неподвижно по целым часам, замечтавшись, устремив свои большие глаза вдаль, или прислушиваясь к шуму плакучих ив. Но вот поднимается буря, ветер гонит волны, клонит вербы и ивы, купая ветви их в воде. И у Фердинанда просыпаются силы, он хочет помериться со стихией и прыгает в челнок, направляя его против бушующего ветра и стремительных волн, которые то и дело относят челнок к берегу или кружат его, бросая, как щепку, и ежеминутно угрожая выбросить дерзко-отважного пловца. Но, упорный, он не уступает, опасность лишь еще больше разжигает его страсть... Часто он бывал на волосок от смерти, но никак не мог уговориться, пока не достигал назло ветру и волнам противоположного берега. Он любит бешеную езду на санях, катается на коньках, плавает подолгу, берет тайком уроки верховой езды и фехтования (замечая, что «нельзя знать, не

придется ли когда-нибудь использовать свое умение») и радуется своим успехам в атлетических упражнениях. Сильный организм, кипучие силы, живая натура юноши вызвали жгучую потребность деятельности, движения, чтобы учащенно билось сердце, усиленно вздымалась грудь, напрягались все мускулы, работало все тело. Но самым любимым развлечением его был театр. Он часто посещал оперу и драму, в особенности когда ставились классические пьесы. Свои впечатления он записывал в дневник, и эти короткие заметки поражают своей глубиной и меткостью.

Хотя в эти ранние годы мы еще не замечаем в Лассале той необыкновенной усидчивости и способности к неутомимому умственному труду, которыми он отличался позже, но, однако, он и теперь уже очень много читает – и изящную литературу, и публицистику, и критику, и историю, хотя все это у него делается как-то незаметно. В то время в воздухе носились язвительная сатира и уничтожающий смех Гейне. Только что была зарыта свежая могила другого изгнанника, а в ушах все еще раздавалась его строгая пламенная речь, бичующая филистеров и фарисеев. И самыми любимыми писателями Лассала сделались, конечно, Гейне и Берне. Но, любя Гейне, он огорчается непостоянством его убеждений:

«Я люблю его, этого Гейне, он – мое второе я. Эти смелые идеи, эта всеуничтожающая сила языка! Он умеет шептать так тихо, как зефир, целующий розы; он умеет пленительно и страстно изображать любовь; он может вызвать в нас нежное томление, тихую грусть, но также и безграничный гнев! Все чувства, все побуждения находятся в его полной власти; его язвительная ирония смертельна. И этот человек оставил дело свободы! И этот человек сорвал со своей головы яковинскую шапку и напялил на свои благородные локоны шляпу, разукрашенную галунами. И все же я думаю, что он смеется, когда говорит: „Я – роялист, я – не демократ“. Мне кажется, что это ирония, и, может быть, это так и есть...»

Зато тем пламеннее любил Лассаль другого неподкупного стража свободы, молившегося всегда одному Богу, на алтарь которого он приносил в жертву и «кровь сердца своего, и соки своих нервов», – Берне. Эти два любимца были, если можно так выразиться, его «баррикадными» профессорами. По ним же он учился и любить Германию, и ненавидеть ее, ненавидеть ее сонного Михеля и его «усыпителей», презирать ее «узколобов» и фарисеев.

Но чем больше расширялся его умственный горизонт, чем больше он привязывался к науке, литературе и искусству, тем

яснее и яснее сознавал, что не создан быть купцом, что всякий день, проведенный им в коммерческой школе, – лишь навсегда потерянное для него время. Вскоре после поступления в лейпцигскую школу он уже начал томиться среди той атмосферы, в которую попал по собственной вине. Он сам сознается, что бежал из Бреславля, так как «опутал себя целою сетью лжи и не знал, как выбраться из нее». Уже через три месяца он пишет:

«Я совсем не считаю себя обязанным отказаться от общественной – эстетической и политической – жизни. Я просто ухватился за первое подвернувшееся занятие, но я твердо верю, что случай или, лучше сказать, Провидение оторвет меня от конторки и бросит на арену, где я смогу действовать. Я верю в случай и в мое твердое желание более заниматься музами, чем гроссбухами и мемориалами, более Элладой и Востоком, чем индиго и свеклой, более музой Талией и ее жрецами, чем лавочниками и их приказчиками, заботиться более о свободе, чем о ценах на товары...»

Он часто и подолгу задумывается над своим будущим, часто анализирует свою жизнь. Прочитанная книга или виденный им на сцене герой наводят его на глубокие размышления о самом себе. Так, в июле 1840 года он пишет по поводу шиллеровской драмы «Заговор Фиеско»:

«Ей-Богу, граф Лавоска – высокий характер! Несмотря на то что у меня теперь такие революционно-демократическо-республиканские убеждения, как редко встречаются у кого другого, я все же чувствую, что на месте графа Лавоска я поступил бы так же и не удовольствовался бы тем, чтобы быть первым гражданином Генуи, но протянул бы руку к диадеме. Отсюда следует, если хорошенько поразмыслить, что я просто эгоист. Родись я принцем или князем, я был бы телом и душою аристократ. Но так как я не больше чем сын простого бюргера, то я и буду демократом».

Эта собственная характеристика пятнадцатилетнего Лассалья как нельзя более верна. Он чувствует свою внутреннюю силу, свое превосходство над другими людьми и способность властвовать над ними; он чувствует себя призванным играть первую роль – в том или другом лагере. И если он не родился принцем, он хочет быть первым среди якобинцев. Если в наследство ему досталась не корона, а участь быть сыном поработенного народа, – то он сделает *это* своим рычагом. Он будет для своего народа Прометеем, он принесет ему с небес божественный огонь свободы и права – и равные, свободные граждане увенчают своего героя трофеями бессмертной славы... Так он мечтал. Но то, почему Лассаль для удовлетворения своей потребности блеска и славы

выбрал именно это средство, а не иное, почему он не пошел по пути, по которому идут Наполеоны или хотя бы Бисмарки, – это объясняется исключительно его душевными качествами и оппозиционным духом. К тому же эти его свойства совпали с общей тенденцией, господствовавшей тогда в литературе, и все будущее предстало перед ним в самых определенных и рельефных очертаниях. В январе 1840 года он пишет:

«Теперь для меня стало ясно, что я сделаюсь писателем. Да, я хочу выступить перед немецким народом и всеми народами и огненной речью призвать их к борьбе за свободу... Из Парижа, города свободы, я, как Берне, пошлю свое слово всем народам земли... И все же какие только преграды я ни воздвигал себе на дороге! Как будут смеяться мои противники над сбежавшим приказчиком, променявшим аршин на перо! Даже приверженцы мои будут бояться довериться мне, и „лавочник!“, „аршинный рыцарь!“ будет раздаваться во всех углах... Но этот лавочник скажет им слова, от которых они онемеют».

Лассаль знает, как дорого обходится родителям его пребывание в Лейпциге, и его любовь к отцу, боязнь огорчить его своими новыми планами долго мешают юноше следовать своим страстным влечениям и велению внутреннего голоса, поэтому он предоставляет «случаю или Провидению» вывести его на истинный путь жизни и деятельности. Так проходит целый год. И чем более заявляют о себе его самомнение и самоуверенность, чем более зреет его религиозный и политический радикализм, тем более ожесточаются против него директор и учителя. Они ждут лишь первого удобного случая, чтобы избавиться от неукротимого проказника, который, по их мнению, «очень опасен», так как имеет уже «своих приверженцев в классе». Лассаль, узнав случайно об этом решении директора и о боязни его, как бы он – «глупый мальчишка» – не сделался *чересчур* «опасным», пришел в восторг, восклицая: «Как же тут не сделаться тщеславным!!!» Но все же это заставило его серьезно призадуматься над тем, как бы предупредить неприятную развязку.

Весной 1841 года он знакомится с доктором Мейером, очень талантливым и образованным молодым человеком, и поэтом Майеном, и между ними скоро завязываются дружеские отношения. Товарищи еще больше укрепляют юношу в его стремлениях, советуют сейчас же бросить коммерческое училище и отдаться науке. Благодаря этому влиянию Фердинанд окончательно решает сообщить отцу о своем намерении и во что бы то ни стало добиться его согласия. Но он исполняет это лишь через три месяца, а пока усиленно читает, делает выписки и

заметки о прочтенных книгах, ревностно изучает литературу классической древности. Теперь уж ему не до дневника. Он берется за него еще лишь один раз, чтобы уже больше не возвращаться к нему. В этот последний раз Лассаль записывает свой знаменательный разговор с отцом, окончательно решивший его судьбу:

«Приезжал мой отец. Я сообщил ему свое желание, свое бесповоротное решение. Сначала он был поражен, потом сказал, что подумает об этом. Я пошел так далеко, что заявил: тут обдумывать нечего, нужно только его согласие, так как я никогда не отступлю от своего решения. Конечно, отнять у отца моего свободу выбора значило зайти слишком далеко. Но в глубине души мне не пришлось выдержать ни малейшей борьбы. Мой отец сообщил мне о своих надеждах на то, что я сниму с его плеч тяжесть, начинающую сильно давить его. Он, утомленный борьбой человек, жаждавший спокойно провести остаток своей жизни, должен будет снова начать бороться, чтобы прокормить Рихтен и Фердинанда, если я буду упорствовать в своем решении. О Боже, выбор был слишком тяжел! Но так как я, несмотря на внутреннюю боль, все же объявил, что должен следовать своему влечению, своему неизменному призванию, мой отец готов был думать, что я бессердечен. Он спросил меня: что я хочу изучить? „Всеобъемлющую, величайшую науку мира, – науку, теснее всех других связанную со священнейшими интересами человечества, – историю“, – ответил я. Мой отец спросил меня, чем я буду жить, так как в Пруссии я не могу быть ни чиновником, ни учителем, – ведь не захочу же я расстаться с родителями? О Боже мой, если бы этого возможно было избежать! Но я ответил только, что везде сумею прокормить себя. Мой отец спросил меня, почему я не избираю медицину или юридическую науку? „Врач, как и адвокат, – возразил я, – это купцы, торгующие своими знаниями; то же самое часто и ученый. Я вижу это по Гандеру; он – купец в настоящем смысле этого слова. Я хочу учиться ради самого предмета, ради бескорыстной деятельности“. Мой отец спросил меня, не думаю ли я, что я – поэт. „Нет, – отвечал я. – Я хочу посвятить себя публицистике... Теперь, – сказал я, – настало время, когда нужно бороться за святые цели человечества. До конца прошлого столетия мир томился в оковах суеверия. Тогда поднялась материальная сила, созданная властью умов, и, пролив много крови, разрушила существующее. Первый взрыв был ужасен, но это было неизбежно. С тех пор борьба эта продолжалась непрерывно. Она велась не грубою физическою силою, а властью ума. В каждой стране, в каждой нации поднимаются люди, которые борются словом, падают или

побеждают. Борьба за благородные цели ведется благородными средствами... Итак, дайте нам не возбуждать народы – нет, не просвещать, развивать их!“ Мой отец долго молчал, потом сказал: „Сын мой, я не отрицаю истины твоих слов, но почему же ты хочешь быть мучеником, – ты, наша единственная надежда, наша поддержка? Свобода должна быть достигнута, но это случится и без тебя. Останься с нами, составь наше счастье, не бросайся в эту битву. Даже если ты победишь, мы все же погибнем. Мы живем только для тебя. Вознагради нас. Ты – один, ты ничего не можешь сделать. Пусть борются люди, которым нечего терять, в судьбе которых не участвует сердце родителей“. О да, он прав! Почему именно я должен быть мучеником? Почему? Потому что Бог вложил мне в душу голос, который зовет меня на борьбу. Потому что Бог дал мне силы – я чувствую это, – которые делают меня способным к борьбе! Потому что я могу бороться и страдать за возвышенную цель. Потому что я не хочу обмануть Бога, напрасно растрачивая силы, которые Он дал мне для определенной цели. Потому, одним словом, что иначе я поступить не могу... Мы зашли, наконец, далеко, и отец заявил, что это окончательно решится лишь в начале учебного года. До тех пор мы оба должны подумать. Но все же мы не совсем понимаем друг друга. Он не запрещает мне изучать избранную науку, но он против моих дальнейших намерений. Поэтому, говорю я, он не понимает меня. Он согласен, чтобы я учился, но он запрещает мне следовать святой, всепроникающей идее, которую он называет либерализмом! Как будто не исключительно она толкает меня к учению, как будто не ради нее я хочу бороться. Без этого я был бы готов остаться тем, чем являюсь теперь».

Родителям пришлось уступить. В классной книге коммерческого училища, под прекрасными отметками, свидетельствовавшими об успехах Лассалья, директором сделано примечание, что Лассаль выбыл из школы сам, по своей воле, даже не уволившись.

Это время можно считать рубежом между детством и отрочеством Лассалья и юношескими годами его.

«Дитя – отец взрослого человека» – говорит английская поговорка. Именно поэтому мы достаточно подробно остановились на этом периоде жизни Лассалья, тем более что эта ранняя эпоха в его жизни осталась и до сих пор совершенно не разработанной его биографами. Уже в этот ранний период вырисовывается характеристическая черта этой огненной натуры, – черта, которая служит ключом для понимания всей его последующей жизни и деятельности: непримиримая ненависть ко всякому притеснению, пламенная любовь к свободе, неусыпное

стремление добыть ее с помощью силы, руководить которой в этой борьбе должен он!..

Как Минерва явилась уже полностью вооруженной из головы Юпитера, так и в пятнадцатилетнем Лассале мы видим полный портрет знаменитого мыслителя, каким в главных чертах он остался до своей трагической смерти. Обстановка же, в которой он провел свои детские и отроческие годы, была как бы фаталистически предназначена для того, чтобы не только не ослабить эти врожденные черты его характера, но еще больше усилить и развить их в нем.

Глава II

Университет. – Студенческая жизнь. – Научные занятия и начало труда «Философия Гераклита Темного из Эфеса». – В Париже. – Дружба с Гейне. – Возвращение в Берлин. – Знакомство с графиней Гацфельд. – Ее судьба. – Лассаль берет на себя защиту графини. – Борьба с ее мужем. – Процесс о похищении шкатулки. – Участие в движении 1848 года. – Первый политический процесс. – «Речь перед судом присяжных». – Тюрьма. – Возобновление борьбы с графом Гацфельдом. – Победа над ним. – Влияние этой борьбы на Лассалья.

Итак, в августе 1841 года Лассаль вернулся в Бреславль, чтобы самостоятельно подготовиться к экзамену на аттестат зрелости. Прекрасно сдав уже через год этот экзамен, он поступает на философский факультет Бреславльского университета. Здесь, перед университетским судом, была произнесена Лассалем первая – блестящая по форме и высказанным в ней мыслям – защитительная речь; здесь было произведено первое следствие над ним и первый приговор: заключение в карцер. Семнадцатилетний студент Лассаль был впервые осужден, как и следовало ожидать, за речь, произнесенную им на тайной студенческой сходке в защиту Фейербаха от нападок университетского профессора Бранисса.

Классическая филология, философия и история сделались его любимыми предметами. Последние же годы его пребывания в университете он всецело сосредоточивается на философии. Прошло уже двенадцать лет после смерти Гегеля, последнего всевластного короля философии, но гегелизм еще продолжал властвовать над философскими науками университетов. И будущий мыслитель сделался рьяным гегельянцем, несмотря на свое радикальное политическое и общественное мировоззрение и, если хотите, быть может именно поэтому, хотя гегелизм в то время не был еще «поставлен с ног на голову» его адептами крайне левого толка. По-прежнему, хотя и не в таком громадном количестве, продолжали, по выражению Гейне, «собираться караваны верблюдов в берлинском караван-сарае», у источника гегелевской мудрости. И Лассаль переходит в Берлинский университет.

В Берлине он ведет веселую жизнь светского человека, окружив себя роскошной обстановкой, предаваясь удовольствиям и развлечениям богатой столицы. В его квартире, заваленной книгами и фолиантами древних философов, нередко происходят

студенческие пирушки, где за кружкой пива ведутся горячие диспуты на всевозможные философские и общественные темы. А наспорившись вдоволь, юные философы предпринимают, иногда далеко за полночь, прогулку в Тиргартен или отправляются в шумный ресторан. Умеренность и расчетливость отца часто приходили в столкновение с широкой натурой сына, но это, конечно, не умеряло его. Впрочем, развлечения его были именно *развлечениями* в часы досуга от серьезных трудов, заполнявших остальное время. Лассаль ревностно работает, много читает и изощряет свои тонкие диалектические способности, решая сложнейшие проблемы гегелевской философии, поражая и восхищая не только товарищей, но и знаменитых профессоров-ученых своим обширным умом, смелым полетом мысли и опьяняющим красноречием.

Но он уже не просто учится. Еще на студенческой скамье просыпается в нем страстная потребность и влечение к самостоятельной творческой работе, и он приступает к большому исследованию о философии Гераклита Эфесского (жившего в VI веке до Р. Х.). Это исследование было им закончено в общих чертах через год и доставило ему впоследствии громкую известность в ученом мире. Уже тот факт, что восемнадцатилетний юноша избирает предметом своего исследования мыслителя, которого самые великие философы Древней Греции считали труднопонимаемым, а потому и дали ему прозвище «Темный», достаточно характеризует крайне уверенного в своих силах Лассаля. Не меньше чем философия Гераклита, которого он считал предшественником своего учителя Гегеля, не меньше чем сама личность древнегреческого мыслителя, в котором он находил так много родственного со своей натурой, его соблазняла и сама задача, перед которой отступился бы всякий другой. Ведь все наследие Гераклита состоит лишь из нескольких отрывков, рассеянных по различным библиотекам, и, чтобы изучить и понять его, нужно обширное и основательное знание всей древнеклассической литературы. Юноша Лассаль выполнил эту трудную задачу с большим успехом. Брандес рассказывает, что, желая услышать мнение одного авторитета в области классической филологии и философии, профессора Берлинского университета, о «Философии Гераклита Темного из Эфеса» Лассаля, он получил следующий характерный ответ: «Конечно, Лассаль сумел понять Гераклита. Филолог средней величины не поймет его, куда ему! Но нельзя не признать, что Лассаль понял его и что его книга – превосходный, основательный труд». Впрочем, Лассаль, любя славу, ненавидел мишурный блеск, да и был слишком привязан к

самой науке, не желая просто сверкнуть метеором и скрыться в бездне времен и пространства, не оставив по себе и следа. Он не спешит публиковать свое исследование, а усердно продолжает работать над ним.

В 1844 году девятнадцатилетний юноша оканчивает университет со степенью доктора философии. Пожив некоторое время в Дюссельдорфе, он отправляется в Париж, чтобы продолжить свои научные занятия в Национальной библиотеке, а также изучить мировой город, куда его так неудержимо тянуло с самых ранних дней его умственного пробуждения. Коммунистическое движение разливалось тогда широкой волной в этом главнейшем центре умственной и политической жизни того времени. Весь цвет немецких эмигрантов сгруппировался в Париже. К. Маркс и А. Руге уже издали первый выпуск «Немецко-французских летописей», где были помещены такие статьи, как «Введение в критику философии права Гегеля» и «Критические очерки политической экономии» Ф. Энгельса. При нем же издавался и был запрещен политический орган «Vorwärts», еженедельное издание немецких эмигрантов, где принимали участие Маркс и Гейне. В начале 1845 года появился совместный труд Маркса и Энгельса «Святое семейство» – полемико-сатирическое произведение, направленное против отвлеченного, жиденького радикализма Бруно Бауэра и К°, где были окончательно сведены счеты с гегелевским идеализмом и впервые провозвещено материалистическое миросозерцание «марксистов». В том же году была издана известная книга Энгельса «Положение рабочего класса в Англии».

Именно в Париже, вероятно, начали окончательно выкристаллизовываться и общественные воззрения Лассалья, хотя позднее, в письме к К. Марксу, он пишет, что «сделался социалистом еще в 1843 году». Тут же он лично знакомится со своим любимцем и учителем Гейне. Великий сатирик, с таким глубоким скептицизмом относившийся к современникам и в особенности к соотечественникам, своим проницательным взором, однако, сейчас же разглядел в юноше и его гениальный ум, и энергию и скоро сделался его другом. Больной и раздражительный, он оживает при каждом посещении Лассалья и с наслаждением проводит с ним долгие часы в рассуждениях на философские, исторические и другие темы. Лассаль со свойственной ему энергией берет в свои руки защиту прав больного поэта на ренту, которую оспаривал у него его кузен, – и блестяще выполняет взятую на себя задачу. В письмах Гейне к Лассалю, которого он всегда называет «дорогим, милейшим другом» или своим «самым дорогим братом по оружию»,

встречаются, например, такие места:

«Сегодня я ограничиваюсь лишь выражением своей благодарности Вам. Никогда еще никто не делал для меня так много. Я еще не встречал человека, в деятельности которого было бы столько страсти в соединении с ясностью рассудка. Да, Вы имеете полное право дерзать, в то время как другие, мы, узурпируем это божественное право, эту небесную привилегию. Ведь в сравнении с Вами я – лишь скромная муха».

В другом месте страдающий поэт трогательно пишет ему:

«Желаю Вам всего лучшего, и будьте убеждены, что я Вас несказанно люблю. Как я радуюсь, что не ошибся в Вас; никому и никогда я не верил так, как Вам, – я, который так недоверчив, по опыту, а не от природы. С тех пор как я получил Ваше письмо, во мне растет бодрость и мне стало лучше».

Нельзя не привести бесподобную характеристику Лассалья, сделанную тем же Гейне в письме от 3 января 1846 года к Варнгагену фон Энзе:

«Мой друг, г-н Лассаль, податель этого письма, – молодой человек с замечательными дарованиями: с основательнейшей ученостью, с обширнейшими познаниями, с величайшей проницательностью, какую мне когда-либо приходилось встречать, с богатейшей способностью изложения он соединяет удивительную энергию и практическую ловкость... Это соединение знания и умения, таланта и характера было для меня отрадным явлением. Лассаль – истинный сын нового времени, не желающий и слышать о том самоотречении и скромности, которыми мы в наше время, с большей или меньшей неискренностью, пробавлялись и щеголяли. Это новое поколение хочет жить полной жизнью и завоевывать себе значение среди *видимого* мира; мы, старики, покорно склонялись перед *невидимым*; стремились поймать призрак счастья и наслаждались благоуханием цветов фантазии, смирялись и хныкали и все же, пожалуй, были счастливее этих суровых гладиаторов, которые так гордо идут в бой, навстречу смерти».

Читатель увидит, до какой степени верен портрет, набросанный в беглых, крупных штрихах гениальной кистью художника, как оправдаются его пророческие слова. Из некоторых намеков в письмах Гейне видно, что молодой Лассаль выступил перед ним горячим атеистом: теперь Гейне «хотел бы увидеть его физиономию», когда он услышит, что смертельно больной поэт обратился в деиста. Намеки и подтрунивания великого поэта над Лассалем показывают также, что для пылких сердец кокетливых парижанок юноша представлял еще большую опасность, чем сам Гейне в молодые годы.

Мы видим двадцатилетнего Лассалья вполне сформировавшимся, *цельным* человеком. Жизнь и наука не прибавят уже ни одного *нового* штриха к его умственному и нравственному облику. Жизнь приумножит его опытность, значительно обострит характернейшие черты его оригинальной натуры, наука в огромнейшей степени обогатит его ум, арсенал его знаний, но ни та, ни другая не в состоянии будут ни на йоту *изменить* эту монументальную фигуру из закаленной стали... Нам приходилось видеть фотографию этого двадцатилетнего юноши: величественно подняв голову, гордо распрямив плечи и подбоченясь, крепко опершись на груды фолиантов правой рукой, – стоит он тщеславно-щеголевато перед нами, с «печатью светлого ума на челе», – мощный, вызывающе упорный, самоуверенный, царственный... Таковым он остался до последнего часа своей бурной жизни!

В январе 1846 года Лассаль вернулся в Берлин, намереваясь занять кафедру доцента при университете. Конечно, его встретили бы там с распростертыми объятиями. Он был уже известен в научном мире столицы, а тогдашние светила науки: Александр Гумбольдт, знаменитый юрист Савиньи, филолог А. Бёк – были его восторженными друзьями. Двери салонов литературных обществ и различных кружков были для него гостеприимно открыты. Но вскоре после приезда в Берлин один из друзей Лассалья, доктор Мендельсон, знакомит его с графиней Софией Гацфельд. Это случайное обстоятельство повлекло за собой очень важные последствия и сильно повлияло на всю дальнейшую судьбу Лассалья. Оно сбilo его с избранного пути и бросило в отчаянную борьбу – запутанную и сложную, отнявшую у него немало сил и времени. Графиня Гацфельд, несмотря на свои сорок лет, была женщина замечательной красоты, величественная, благородная, умная. Скрытая грусть и боль незаслуженных долголетних страданий и унижений отражались в тонких чертах ее лица и подчеркивали его природную чарующую прелесть. Большие выразительные томные глаза, осененные густыми и длинными ресницами, сверкали неуголенным жаром страсти, дышали затаенной ненавистью и гневом за бесплодно потраченную жизнь.

«Насколько велико благородство ее души, насколько глубок ее ум, настолько же велико и несчастье ее судьбы, – писал Лассаль впоследствии в „Исповеди“ С. Солнцевой. – Она происходила из высшей аристократии, из одной из знаменитых германских фамилий, князей Гацфельдов. В то время самым богатым и влиятельным из них был ее двоюродный брат, граф Эдмонд Гацфельд, обладавший пятиmillionным состоянием. За

него-то и выдали родители свою семнадцатилетнюю Софию, – конечно, по расчету. Грубый, развратный и высокомерный, граф возненавидел скоро, когда прошел первый пыл медового месяца, юную красавицу жену – одаренную, чистую, с глубоким внутренним миром – как своего антипода. Первое время она терпеливо выносила его грубое, возмутительное обращение, но когда она начала возмущаться и протестовать, муж не остановился и перед насилием. Граф начал систематически мучить и преследовать ее всеми средствами, доступными могущественному и привилегированному аристократу, такими недостойными способами, каких не найдешь в самых неправдоподобных романах... Он заключал ее в своих горных замках, отказывал ей в докторях и лекарствах во время ее болезней, тайно похищал ее детей. Вся жизнь этой отважной женщины была лишь непрерывной борьбой за детей, которых она постоянно возвращала и снова теряла».

Из троих ее детей при ней остался лишь младший сын. Дочь же граф насильно вырвал из ее рук и заключил в иезуитский монастырь, лишив ее всякой возможности общения с матерью, так что в продолжение пяти лет ни единого письма, ни одной строчки не получила ни мать от дочери, ни дочь от матери. Граф лишил несчастную жену всех средств к жизни, в то время как сам прожигал свое огромное состояние в разгульных и развратных оргиях. Но этого мало, он старается восстановить против нее ее родных, подкупает клеветников и распускает наглые инсинуации, обвиняя ее в безнравственности, в измене, чего ему не удалось доказать, несмотря на подкупы и целую шайку шпионов, которыми он ее окружил. Даже ее братья, занимавшие высокое положение в обществе и имевшие могущественные родственные связи, не в состоянии были сделать что-либо против него, несмотря на то что все они глубоко ненавидели тирана. Часто они устраивали семейный совет и принуждали Эдмонда изменить свое обращение с женой, заставляли его подписывать договор, который бы защищал ее от преследований. Граф всякий раз уступал, подписывал все, что от него хотели, по-видимому даже примирялся с графиней, но – не проходило и двух дней, как он снова обрушивался на нее со всей силой своей тирании. Однажды брат графини даже жаловался по этому поводу лично королю. Король дал кабинетное предписание графу изменить свое бесчеловечное обращение с женой, но высокомерный немецкий патриций не обратил и на это никакого внимания. Не было иного выхода, как прибегнуть к защите суда. Но, несмотря на то что графиня на коленях умоляла своих родственников обратиться к этому последнему средству, они ни за что не соглашались: гордые

своим родовым княжеским гербом аристократы боялись, чтобы раскрытие всех злодеяний графа не наложило пятна на этот герб и на них самих за их долгое молчание по отношению к таким неслыханным гнусностям. К тому же они не хотели давать лишнего оружия в руки демократических элементов страны. Напротив, они угрожали совершенно оставить ее, обратиться против нее, если она решится на этот шаг. Вся жизнь человека была, таким образом, принесена в жертву его «высокому» имени.

В таких мучительных пытках прошло много лет. Двадцать два года носила она на себе страшное иго своего тюремщика – ради единственного сына, оставшегося при ней. Но вот граф решил во что бы то ни стало разлучить ее и с этим, самым любимым ее ребенком, для чего прислал к ней слугу. Мать, как тигрица, защищающая своих детей и не щадящая при этом жизни, держа маленького сына на левой руке, а в правой – заряженный револьвер, встретила посланного со словами: «Если вы только прикоснетесь к нему, я застрелю вас на месте!» Но и это не остановило графа. Он решается похитить ребенка. Он пишет четырнадцатилетнему мальчику письмо, в котором требует немедленно оставить мать, и дает ему при этом план бегства от нее. В случае же неисполнения им этого приказа он угрожает лишить его всякого наследства.

В это-то время Лассаль и знакомится с многострадальной графиней. Узнав от своих друзей и от нее самой всю трагическую историю ее жизни, он был тронут ею до глубины души. Возмущенное чувство справедливости громко заговорило в нем, его боевая натура проснулась и требовала от него вмешательства и защиты унижаемого человеческого достоинства беспомощной женщины и поправленных прав матери.

«Можете ли Вы, Софи, – пишет он С. Солнцевой в той же „Исповеди“, – составить себе верное понятие о том впечатлении, которое произвела на меня эта история, когда я выслушал ее, когда графиня дала мне неопровержимые доказательства фактов в переписке с родными и других бумагах! Я видел перед собою в ее лице олицетворение всех неправд давно прошедшего жизненного строя, – олицетворение всех злоупотреблений власти, силы и богатства, направленных против слабого: все нарушения наших общественных прав... Я сказал самому себе: да не будет сказано, что ты, зная все это, допустил спокойно задушить эту женщину, не придя ей на помощь! Если бы ты поступил так, то какое бы имел ты право упрекать других в эгоизме и подлости?.. Я сказал графине, которая не знала более, что ей делать: „Если вы твердо решитесь победить или умереть, я возьму ваше дело в эти молодые, но сильные руки, – и клянусь вам бороться за вас до

смерти“.»

Многие биографы видели причину, побудившую молодого Лассалья броситься в такую нескончаемую и опасную борьбу, в его любовных отношениях с графиней. Сам же Лассаль, никогда не скрывая своего глубокого сыновнего чувства к ней, горячо протестовал перед судом против тех грязных мотивов, которыми объясняли его заступничество в деле графини, и доказал, что это – злобная клевета, распускаемая графом, его лжесвидетелями и помощниками. Рассказав перед судом, как трусливо и равнодушно относились родные графини к ее печальной участи, он восклицает:

«Но где люди молчат, там заговорят камни. Где все человеческие права попираются ногами, где даже голос крови молчит и беспомощный человек оставлен его урожденными покровителями, – там с полным правом поднимается в защиту самый близкий и самый далекий родственник человека – человек!.. Беря в свои руки это дело... я нисколько не скрывал от себя, каких страшных противников в виде общественного положения, влияния и богатства (графа) я имею перед собой, что они всегда и повсюду найдут себе союзников в рядах бюрократии и какой опасности я лично подвержен. Я знал это, но это не могло меня остановить. Я решил противопоставить лжи истину, высокому рангу – право, денежному могуществу – силу ума. Препятствия, жертвы, опасности не испугали меня... И я нисколько не ставлю себе это в особенную заслугу. Напротив, я понимаю это как нечто совершенно естественное! Какой человек, который считается сильным пловцом, видя в волнах утопающего, не бросился бы к нему на помощь? И этот человек рискует большим, чем я, он рискует своей жизнью! Что ж, я считал себя хорошим пловцом, к тому же я был независим, – я и бросился в волны. Но если я и не стану хвалиться моим образом действий, то никак не могу допустить, чтобы чистота моих намерений была поставлена под сомнение, а мотивы, которые руководили мной, были извращены...»

И тут же Лассаль приводит целый ряд опровержений возводимых на него графом клевет. Со своей стороны, мы не имеем причины не верить ему. Совершенно справедливо говорит Бернштейн, что «в силу чисто психологических причин невероятно, чтобы такие интимные отношения установились между ними уже в начале их знакомства, когда Лассаль взялся вести судебный процесс. Более вероятно, что вместе с несколько романтически преувеличенным, но все же достойным уважения участием в судьбе преследуемой женщины и ненавистью к высокопоставленным аристократам Лассалья должно было

сильнейшим образом привлекать также и сознание, что это дело можно выиграть лишь необыкновенными силами и средствами. А что других испугало бы, то его безусловно притягивало». Само собою разумеется, что графиня была счастлива от этой неожиданной помощи со стороны отважного молодого человека, в котором она сейчас же разглядела его необыкновенный ум и энергию и в могучие силы которого поверила.

И юноша-еврей, в двадцать один год, без больших средств, связей и без всякой юридической подготовки, бросается в борьбу с могущественным графом, на которого и сам король не в состоянии был оказать какого-либо давления. Первым его шагом была попытка примирить обе стороны и обеспечить прочное положение графини и ее детей. Лассаль был представлен лично принцу Фридриху, двоюродному брату короля, через которого он должен был познакомиться с графом Гацфельдом, чтобы самому изучить его характер и, выбрав благоприятный момент, уладить это дело мирным путем. Но все мирные попытки его оказались тщетными. Тогда Лассаль начал свой знаменитый процесс против графа. Этот процесс, который тянулся целых девять лет одновременно в тридцати шести судебных учреждениях, без всяких адвокатов, а лишь ограниченными силами одного юноши, – едва ли не единственный в своем роде во всемирной судебной хронике. Впрочем, это был не просто судебный процесс, а настоящая подпольная и открытая война со строго продуманным стратегическим планом, организованной военной тактикой и дипломатией. Как во время войны, так и здесь не останавливались ни перед какими средствами, ведущими к цели. И рекогносцировки, и разведчики, и подкупы – все было в ходу. У графа – потому что он был гнусный деспот, ничего не жалевший для того, чтобы уничтожить своих противников, несмотря на их справедливые требования. У Лассалья – потому что он считал все средства законными в правой борьбе с могущественным тираном, хотя все же к подкупам он никогда не прибегал. Лассалю приходилось тратить все свое состояние на ведение процесса и поддержание жизни графини и ее сына. Научные занятия были им совершенно оставлены. Зато с тем большей ревностью взялся он за изучение юриспруденции, чтобы во всеоружии юридических знаний победоносно вести начатую войну.

«Я не изучал до того времени права, – пишет Лассаль, – но зато теперь стал изучать его с *бешенством*!. Продолжая вести процессы, я превратился в юриста; в несколько месяцев я сравнялся с адвокатами, а в два года, могу сказать, я превзошел их всех».

Демократическая пресса, к которой апеллировал Лассаль,

отозвалась на его голос, и он уничтожил графа перед лицом общественного мнения. «Это была ежедневная борьба, борьба не на жизнь, а на смерть». И юный Давид победил гордого Голиафа.

Но пока что граф, как мы уже упомянули, не дремал. Все свое могущество и влияние он употребил, чтобы стереть с лица земли своих врагов. Расточая золото направо и налево, он организовал целую шайку шпионов, подкупал слуг графини и Лассалья и не остановился даже перед прямым покушением на жизнь графини, к счастью неудачным. При таких обстоятельствах, конечно, малейший неосторожный шаг со стороны Лассалья мог бы сильно повредить или по крайней мере затянуть начатое дело. Такой неосторожный шаг и был сделан если не самим Лассалем, то его друзьями. Легкомысленный поступок привел их и самого Лассалья на скамью подсудимых.

Чтобы наложить запрет на имущество, немилосердно расточаемое графом, и возбудить процесс о разводе, Лассалю необходимо было собрать юридические доказательства расточительной и развратной жизни графа. Для этого он отправился в сопровождении своих друзей, судьи Оппенгейма и доктора Мендельсона, обещавших во всем помогать Лассалю, в Дюссельдорф, поближе к месту жительства графа. Вскоре Лассаль узнал, что граф, сойдясь с новой метрессой, баронессой Мейендорф, решил сделать ей, под видом ипотечной ссуды, подарок, чтобы лишить всяких средств своего младшего сына Поля, который не был обеспечен правами семейного майората. Это было, конечно, лучшее доказательство развратной и расточительной жизни графа. И вот, чтобы проследить это дело до конца, Лассаль посылает своих друзей Оппенгейма и Мендельсона следить за баронессой Мейендорф, которая отправилась в Кёльн. Они остановились в той же гостинице, где и баронесса. На другой день, перед отъездом ее из Кёльна, Оппенгейм увидел, как слуга вынес и оставил в карете шкатулку баронессы, где, как казалось Оппенгейму, должны были заключаться дарственная запись и другие документы, касающиеся этого дела. У Оппенгейма моментально появляется мысль похитить эту шкатулку, чтобы завладеть документами. Он приводит в исполнение эту, как выражается Лассаль, «дикую мысль», но попадает в конце концов в руки полиции. Невольный соучастник его Мендельсон успевает бежать в Париж. Против них выдвигается обвинение в краже. Граф напрягает все свои силы, чтобы выставить Лассалья самым главным виновником и подстрекателем этого предприятия. И действительно, суд вынес обвинительный вердикт возвратившемуся Мендельсону, в то время как Оппенгейм был оправдан, а затем графу удается

благодаря ложному показанию подкупленного им слуги Лассалья вызвать арест последнего. Лассаль, арестованный 26 марта 1847 года, просидел в предварительном заключении целых шесть месяцев, пока ему не удалось через посредство пятнадцати свидетелей доказать, что слуга его был подкуплен графом. Данное обстоятельство не помешало, однако, прокурорской власти поддерживать возбужденное против Лассалья обвинение. Этому процессу, впрочем, никто так не радовался, как сам Лассаль. Он явился для него удобным случаем «заговорить самому перед всем народом, чтобы опровергнуть все те грязные обвинения и гнусную клевету, которые благодаря стараниям графа как из рога изобилия сыпались на головы его и графини в продолжение двух лет». И вот 5 августа 1848 года на скамье подсудимых появляется Ф. Лассаль, юноша, как звучит на непоэтическом языке судебных актов, «двадцати трех лет, без официальных занятий, ростом в пять футов шесть дюймов, с выющимися темными волосами и такого же цвета бровями, темно-голубыми глазами, открытым лбом, пропорциональным носом и ртом, круглым подбородком, продолговатым лицом и стройного сложения». Этот юноша не пожелал иметь адвоката, а защищался сам против четырнадцати лжесвидетелей, подкупленных графом, и прокурора с тщательно продуманным обвинительным актом. Впрочем, правильнее будет сказать вместо «защищался» – обвинял. В течение шести дней Лассаль изобличил лжесвидетелей, уничтожил неопровержимыми доказательствами клевету, возведенную на него и графиню, а на седьмой день, 11 августа, произнес свою знаменитую шестичасовую речь, которая впервые привлекла к нему внимание и вызвала удивление всего интеллигентного мира Германии. В блестящей форме и с подавляющей логикой он критикует в ней несправедливое осуждение Мендельсона, в то время как главный виновник, Оппенгейм, уже был оправдан судом; показывает трагическую участь графини, беспощадно преследуемой мужем и оставленной родственниками, лишенной собственных детей и брошенной на произвол судьбы без всяких средств к жизни; затем он доказывает, что свидетели были подкуплены, дает опровержение возведенных на него обвинений и, наконец, объясняет истинные причины, побудившие его защищать графиню.

Если прокурорский надзор, как это ясно видно из всего хода процесса, преследовал в нем ярого демократа, то и Лассаль не преминул воспользоваться той антипатией к привилегированному сословию, которая – возбужденная и усиленная мартовской революцией – живо чувствовалась в народе, а следовательно, и в присяжных. Так, он, обращаясь к ним, говорит:

«Кто теперь, в 1848 году, не возмутится до глубины души, если увидит человеческие права попираемыми и оскорбляемыми?.. Я же позволил себе возмущаться этим еще в 1846 году. Мой взор, милостивые государи, был всегда обращен главным образом на общественные вопросы и события, и я, быть может, не так легко решился бы ради улучшения печальной участи одной личности прервать свою жизненную карьеру по крайней мере на долгие годы, хотя человеку с сердцем в высшей степени больно оставаться безучастным при виде того, как ближний беспомощно падает от ударов грубой силы. Но я увидел в этом случае воплощение общих принципов и взглядов. Я сказал себе, что графиня – лишь жертва своего сословия, что только в положении надменного князя и миллионера можно решиться, а некоторые и безбоязненно решаются на такие злодеяния, на такое оскорбление общества в его лучших нравственных чувствах! Я сказал себе, что хотя злодеяния совершаются во всех классах и слоях общества, но что если бы эта женщина имела счастье принадлежать к купеческому, ремесленному или крестьянскому сословию, давным-давно нашелся бы брат, родственник, друг, который положил бы конец этому насилию и протянул бы руку помощи незащитной женщине. Я сказал себе, что этот поток всевозможных возмутительнейших несправедливостей мог в течение двадцати лет беспрепятственно изливаться лишь в тех высших, гордых своим происхождением сферах, в которых, за весьма немногими исключениями, сердце холодеет подо льдом титула, чувство умирает от привычки к произволу, а апеллирование к неприкосновенным правам человека не находит никакого отклика».

Суд присяжных закончился оправдательным приговором, который вызвал энтузиазм и бурю радостного сочувствия не только среди публики, находившейся в зале суда, но и во всем городе, во всей Рейнской провинции, с напряженным вниманием следившей за ходом процесса. С бурными приветствиями и криками «ура!» вынесли Лассалья на руках из зала суда. На площади перед судом встретил он отца, который, рыдая, бросился к нему на шею со словами: «Дитя мое! дитя мое!..» Когда он затем опять возвратился в Дюссельдорф, народ встретил его так, как некогда в Древнем Риме встречали триумфаторов, возвращавшихся с поля битвы. Толпа выпрягла лошадей из кареты, где сидела графиня со своим юным рыцарем, и триумфальным цугом повезла их через весь город.

Родители со слезами на глазах умоляли Фердинанда прекратить начатую им борьбу с графом, но, разумеется, он остался непоколебим. К тому же это была уже вторая победа, так

как за четыре месяца до этого процесса он по суду заставил его уплатить графине восемь тысяч рублей ежегодной ренты. Неумолимо продолжал Лассаль вести войну против графа и дальше, пока наконец не заставил его сдаться на все требования.

Итак, 1848 год застаёт Лассалья в нескончаемой войне с графом, – войне, поглощавшей все его силы. На горизонте политической жизни почти всех западноевропейских стран собирались густые тучи, наэлектризованный воздух становился невыносимо душен, и все предвещало бурю... Эта буря настала. Ураган революции, как эпидемия, бушевал, переносясь из одной столицы в другую, из одного центра в другой. Разразился он и в многочисленных государствах раздробленной Германии. Страстная, революционная натура Лассалья жаждала принять участие в судьбах своей родины, но непрерывные процессы давали ему возможность лишь спорадически участвовать в них. Зато после окончания процесса о похищении шкатулки он бросается в лихорадочную агитацию, пишет воззвания и прокламации, сзывает народные собрания, перед которыми разворачивает весь свой ораторский талант, вооруженный глубокими знаниями и управляемый сильным логическим умом. Как республиканец и социалист он принадлежал, конечно, к крайне левому крылу демократии, органом которого была «Новая Рейнская газета», издававшаяся в Кёльне под редакцией Маркса. Лассаль состоял членом демократического клуба в Дюссельдорфе, записался также в народную милицию, принимал участие в «Новой Рейнской газете», помещая в ней статьи и корреспонденции. В это время членом «Комитета рейнских демократов» был также К. Маркс, с которым познакомился и Лассаль. Таким образом, ему представлялась возможность часто встречаться с Марксом, и между ними завязались дружеские отношения, продолжавшиеся и после, когда последний находился в изгнании. Эти дружеские отношения не стали, впрочем, очень тесными: для этого их натуры были слишком различны. Тем не менее нельзя не отметить того глубокого влияния, которое оказал могучий ум Маркса на экономические и социальные воззрения Лассалья. Но об этом ниже. Итак, среди главных представителей рейнской демократии – Маркса, Энгельса, Фрейлиграта и других, – занял выдающееся положение и Лассаль. К тому же времени относятся его первые связи и знакомства с рабочими кружками. Хотя социальное мировоззрение Лассалья не было еще тогда ясно выработано во всей своей целостности, но он все же инстинктивно чувствовал, что бюргерство не в состоянии будет отстоять и защитить конституционные права, приобретенные в мартовские дни, если рабочие не примут участия в этой борьбе с

полным сознанием своей силы и решающего влияния. И уже тогда он называл рабочий класс «единственным сословием, которому принадлежит будущее». Он часто и с особенной любовью читал лекции и произносил речи в рабочих кружках, проводя всюду идею о самостоятельной исторической роли, выпавшей на долю «четвертого сословия».

Когда 29 августа 1848 года поэт Фрейлиграт был арестован за известное стихотворение «Мертвые к живым», Лассаль созвал в Кёльне огромное народное собрание, на котором протестовал против репрессалий и наступающей реакции. Затем он в Дюссельдорфе напечатал прокламацию, в которой со свойственным ему красноречием защищал поэта, заточенного в стенах каземата, и выставил целый ряд тяжелых обвинений против его преследователя, государственного прокурора. Прокламация произвела сильное впечатление на дюссельдорфцев и вызвала оживленное оппозиционное движение против все усиливавшегося произвола и реакции. Это движение повлияло также и на присяжных, оправдавших Фрейлиграта.

Однако и самому Лассалю недолго пришлось оставаться на свободе. Правительство совершенно справедливо видело в блестящем ораторе своего ожесточенного и небезопасного врага и искало лишь повода, чтобы силой обезоружить его. Такой повод не замедлил явиться, и спустя несколько месяцев мы опять видим Лассалья на скамье подсудимых перед дюссельдорфскими присяжными.

Наступившая реакция все больше и больше усиливалась. Правительство, побежденное мартовской революцией, как бы мстило за свое поражение и мечтало о завоевании своих прежних прерогатив. Подавление Венского восстания придало прусскому правительству еще большую смелость. Национальное собрание перешло мало-помалу из наступательного в оборонительное положение, и деятельность его должна была сводиться к разрешению репрессалий и новых налогов, поочередно требуемых правительством. Доведенное до ожесточения, оно решило оказать правительству сопротивление, конечно пассивное, вотировав в ноябре 1848 года министерству Мантейфеля отказ в собирании новых податей. Правительство ответило на это временным роспуском Национального собрания, отменой народного ополчения и объявило Берлин на осадном положении. Оно, очевидно, решило силой собирать подати, не разрешенные народным представительством. Демократическая партия видела в этом попрание и отрицание всех прав, добытых народом, и решило сопротивляться самоуправству всеми мерами. «Комитет рейнских демократов» напечатал в «Новой Рейнской газете»

воззвание ко всем демократическим союзам провинции, требуя организации вооруженного сопротивления против насильственного сбора податей. В этом же духе действовал и Лассаль, созывая в Дюссельдорфе и других рейнских городах народные собрания, распространяя прокламации и готовя открытые восстания. Это привело к целому ряду уголовных преследований агитаторов демократической партии. Лассаль был арестован в числе первых 22 ноября 1848 года по обвинению в «возбуждении граждан к вооруженному сопротивлению королевской власти» речью, произнесенной им в Нейсе. 2 января 1849 года дюссельдорфские граждане отправили к генерал-прокурору Кёльна депутацию, к которой присоединились также депутаты от кёльнского «Рабочего союза» и «Демократического общества». В адресе, подписанном двумя тысячами восьмьюстами лицами, они обращались к генерал-прокурору с требованием о возможно скором расследовании дела Лассалья и других заключенных, о достойном обращении с ними и, наконец, об учреждении экстренного суда присяжных.

Но срок предварительного заключения прокуратура намеренно, как потом Лассаль доказал на суде, затягивала, так что только 3 мая 1849 года Лассаль предстал перед судом в Дюссельдорфе. Он написал в свою защиту речь, появившуюся в печати под названием «Речь перед судом присяжных» («Assisen-Rede»), которой, однако, он никогда не произносил, и всё, что многие биографы писали о «глубоком впечатлении», произведенном этой речью на присяжных и присутствовавшую публику, принадлежит к области фантазии. Лассаль отдал ее в печать, и так как отдельные печатные листы ее еще до начала суда распространялись из рук в руки и производили фурор, суд решил разбирать дело Лассалья при закрытых дверях. Лассаль протестовал против этого решения, доказывая, что речь распространялась без его ведома и даже вопреки его желанию, что гласность – первое условие правосудия. «Посмотрите, господа, – обращается он к публике, которой предложили удалиться, – вот как здесь обращаются с вашими согражданами, вот как попирается ногами ваше законное общественное право». В пылу этой предварительной борьбы с судьями Лассаль дошел до того, что назвал президента «великим инквизитором», который в своих преследованиях пошел гораздо дальше, чем инквизиторы средневековой Испании. Но когда суд, несмотря ни на какие протесты, не изменил своего решения, Лассаль наотрез отказался от всякой защиты. Тем не менее присяжные вынесли ему оправдательный вердикт. Это был первый *политический* процесс Лассалья. Защитительная речь его, несмотря на то что не была

произнесена, принадлежит к самым лучшим образцам политического красноречия и служит интересным документом для истории политического развития самого Лассалья. Как бы мы ни относились к точке зрения Лассалья, нельзя не признать, что стройная логика, глубокие знания, пламенное красноречие, даже пафос, в который он нередко впадает, – все в этой речи производит неотразимое впечатление, все дышит свежестью глубокой мысли, огнем молодости, кипучей энергией и необычайной смелостью. Недаром Брандес говорит, что «эта речь – одно из тех поразительнейших свидетельств мужества и красноречия удивительного юноши, которыми славится мировая история». Чтобы понять ее силу, нужно самому ее прочесть. «Цитаты дают такое же слабое представление о жизненной силе этой речи, как ведро воды о морской волне». Тем не менее в кратких словах мы постараемся передать ее содержание.

Свою речь Лассаль начинает заявлением, что процесс, затеянный против него, – *тенденциозный*, так как главным обвинительным пунктом является то, что он – «революционер по принципу». Отсюда явствует, что преследуют, собственно, его *убеждения*, а не *действия*. Нисколько не отрицая своих коренных убеждений, он, однако, в своей защите не будет исходить из своего мирозерцания, не признаваемого правительством, а станет на почву чисто конституционных взглядов и законов, на какой стоит или по крайней мере должен стоять прокурор как представитель конституционного государства. С этой точки зрения Лассаль критикует известные события 1848 года, начиная с обещаний, сделанных правительством 18 марта, вплоть до роспуска Национального собрания и утверждения конституции 5 декабря. Шаг за шагом обнаруживает он реакционные замыслы немецкого правительства и полное нарушение им основных законов конституционной страны. Показав, как нагло попираются права народа теми, которые призваны охранять их, он горячо восклицает:

«Дальше! дальше! Вложим глубже наши персты в раны еще теплого трупа родины! Пусть вид их зажжет святую патриотическую ненависть в наших сердцах. Не позабудем ничего, никогда, ни на одну минуту. Может ли сын забыть того, кто опозорил его мать? Эти ужасные воспоминания представляют собою все, что осталось нам от былой свободы, – наши единственные реликвии, политые кровью. Сохраним же эти воспоминания бережно как прах замученных родителей, от которых единственным наследством остается нам клятва мести, произнесенная над их смертными останками!...»

Обнаружив грубое насилие против законов конституции, он

доказывает право народа всеми мерами защищать законы своей страны, с какой бы стороны им ни угрожала опасность; доказывает, что священной обязанностью демократии было поступить так, как она поступила. Перейдя к своей речи в Нейсе, из-за которой его преследуют, Лассаль считает излишним опровергать, что она, по смыслу закона, не была прямым призывом к вооруженному сопротивлению. Он хочет быть оправданным лишь в силу признания судом, что «призыв к вооруженному сопротивлению был тогда прямым правом и обязанностью страны», и апеллирует к политическому достоинству присяжных как выразителей общественной совести. Кончая свою защитительную речь, он не может не заговорить еще раз о контрреволюционных кознях и лицемерно-реакционной политике правителей страны и свою речь заключает угрозой: «Палач уж стоит у дверей! Так же сильна будет наша месть, как велик наш позор!» Но недаром гордый юноша говорит: «Как панцирь воина усеян неприятельскими стрелами, так и я осажден уголовными преследованиями». Правительство понимало, что присяжные будут на стороне Лассалья, и поспешило еще до окончания этого процесса возбудить против него новое обвинение по тому же поводу, но на сей раз перед судом исправительной полиции. Напрасно Лассаль протестовал против двойного преследования за один и тот же проступок. После оправдания его судом присяжных он тотчас же был опять отведен в тюрьму, а 5 июля 1848 года осужден дюссельдорфской исправительной полицией к шестимесячному тюремному заключению. Ни свидетельства врачей о его хронической болезни, не позволяющей ему сидеть в заключении, ни подтверждение этой болезни комиссией военных врачей – болезни, послужившей причиной полного освобождения его от военной службы, – ни, наконец, требование тюремного врача о немедленном освобождении его из тюрьмы, так как иначе болезнь его станет неизлечимой, – ничто не помогло, и Лассалю пришлось отсидеть этот срок зимою 1850 года. (Сестра его хотела было подать королю прошение о помиловании, но Лассаль наотрез от этого отказался). Благодаря своей энергии и умению подчинять себе волю других он добился в тюрьме таких привилегий, каких заключенные еще никогда не имели: так, он, по мере надобности, получал отпуск из тюрьмы для ведения дела против графа Гацфельда, что он сам впоследствии находил противозаконным, получил право иметь при себе чуть ли не половину всей своей библиотеки и заниматься литературными работами и т. д.

Несмотря на все превратности судьбы, Лассаль, будучи на свободе или сидя в тюрьме, не переставал интересоваться всем

окружающим миром, предаваясь, пусть урывками, научным занятиям, не переставал сноситься со своими политическими друзьями, быть их верным товарищем по оружию.

С наступлением реакции в конце 1848 года произошел неблагоприятный поворот и в ходе процессов против графа Гацфельда. Графиня терпела одно поражение за другим, почти каждая неделя приносила неблагоприятные результаты. Лассаль объяснял это следующим образом:

«Так как графиню отождествляли со мной, а я был самым ненавистным вождем революционной партии в провинции, то эта солидарность со мною была причиной того, что графиня проигрывала все свои процессы. Именно тогда-то я узнал свою истинную силу. После каждого поражения я восставал более страшным, чем прежде. Я всегда придумывал новое нападение, более грозное, чем предшествующее. Видя в толпе судей одних только подкупленных судей-убийц или судей-врагов, я сам понемногу стал терять надежду на победу. Но я хотел по крайней мере бороться, пока живу, и уступить, только умирая».

Однако эта многолетняя и трудная борьба в конце концов увенчалась для него полным торжеством. Лассаль и впоследствии всегда называл эту победу «триумфом всей своей жизни». В августе 1854 года, прежде чем наступило окончательное решение этого дела, знатный и надменный граф капитулировал перед «глупым жиденком», как называл он Лассалья. Этот «глупый жиденок» продиктовал ему мир «на условиях, не только вполне унижительных для него, но и вполне его бесчестящих». Графиня была навсегда освобождена от власти мужа и получила большую часть его состояния. В течение многих лет, пока продолжался судебный процесс, до времени получения ею вышеупомянутой ренты, Лассаль делил с нею скромную сумму, высылавшуюся ему ежегодно из дома. Поэтому графиня, после получения ею условленной части графского состояния, обеспечила Лассалья суммой в сто тысяч рублей приносившей ему четыре тысячи рублей ежегодного дохода, что при тогдашних условиях давало ему возможность устроить свою жизнь согласно своим желаниям и потребностям и свободно отдаться политической и научной деятельности.

Итак, эта «ужасная, невозможная борьба» окончилась. Даже по прошествии шести лет после окончания ее он писал: «Я едва могу сам понять, как мог я один устоять против всех противников и окончить победой». Эта борьба поглотила цветущие дни первой молодости Лассалья, а науку и литературу лишила, быть может, целого ряда ценных исследований. Однако жалеть об этом – по меньшей мере бесплодно. Взяв это дело в свои руки, Лассаль,

конечно, не мог думать, что оно продлится чуть ли не целый десяток лет. А раз начав эту борьбу, он, само собою разумеется, не мог сложить оружия, прежде чем не одержит полной победы. Юным пылким энтузиастом бросился он в этот водоворот борьбы, а вышел из него вполне опытным, испытанным пловцом. Если латинская поговорка утверждает, что «*ira facit versum*» («негодование делает поэтов»), то относительно Лассалья можно с уверенностью сказать, что негодование, вызванное в нем всей этой позорной историей, dokonчило и закалило фигуру мощного и бесстрашного борца. Но, рассматривая влияние, которое оказала на *характер* Лассалья эта продолжительная борьба, нельзя сказать, чтобы оно было особенно благоприятным. Ряд одержанных им на глазах всего интеллигентного мира своей страны блестящих побед удесятерил его сильное честолюбие и чудовищную самоуверенность. И эта самоуверенность сделается, как мы видим, фатумом всей его жизни. «Что нужно для победы – это смелость, еще раз смелость, всегда и во всем смелость!» – эти слова Дантона Лассаль как бы взял девизом всей своей жизни и деятельности.

Глава III

Жизнь в Дюссельдорфе. – Берлин. – «Гераклит Темный». – Домашняя обстановка. – В кругу друзей. – «Франц фон Зиккинген». – «Итальянская война». – Мнимый патриотизм Лассалья. – У Гарибальди. – Любовь к Солнцевой. – «Исповедь». – «Лессинг». – «Система приобретенных прав». – План собственной газеты. – Борьба прогрессистов и отношение к ней Лассалья. – «Юлиан Шмидт». – «О сущности конституции». – «Что же теперь?» – «Сила и право»

Вслед за годами революции над немецкой землей воцарилось глубокое затишье. Но не то затишье, какое бывает обыкновенно после бури. Это была мертвая тишина реакции, наложившей свою тяжелую руку на все источники свободной жизни. После окончания кампании против графа Гацфельда наступило затишье и в жизни Лассалья. Он перенес свою жизнь и деятельность из тюрьмы, из зала суда и народного собрания в ученый кабинет и светский салон. Ввиду участия его в революции 1848 года ему было запрещено пребывание в прусской столице, а потому он по-прежнему оставался жить в Дюссельдорфе. Графиня уже более не расставалась со своим избавителем, которого полюбила горячее и нежной любовью матери и страстного адепта. Зато и Лассаль платил ей той же монетой.

«Я люблю ее любовью сына; я люблю ее любовью верного товарища по оружию, делившего с нею десять лет борьбы и опасностей. Я, наконец, люблю ее философской любовью, то есть люблю ее, как самый прекрасный тип человечества, как тип страждущего человечества, как Христа, распятого у меня на глазах за грехи человечества и Которого мне удалось сорвать с креста силой моей воли... Я не чувствовал бы себя никогда счастливым, если бы не видел ее также счастливой, довольной, сияющей...»

Так писал Лассаль о своем «друге-матери» в «Исповеди» любимой девушке. Тут же он говорит о добром влиянии, которое имела графиня на его характер, «развив в нем добрые инстинкты и подавив другие – зверские: страшный гнев, крайнюю страстность».

Итак, графиня также осталась в Дюссельдорфе.

Постоянными посетителями и друзьями дома Лассалья были, между прочим, поэт Фрейлиграт и Беккер – участник движения 1848 года, а потом городской Глава в Кёльне. Гостеприимный дом его был всегда открыт для всех гонимых и преследуемых; они находили в нем радушный приют, а в его хозяине – остроумного

собеседника, неизменного помощника и умнейшего советника. Лассаль устраивал частые пирушки, пережил не одно любовное приключение, предпринимал путешествия в различные страны, между прочим также и в Египет, – и вообще наслаждался жизнью, как только мог. В это же время он возвратился к давно оставленной и недоконченной рукописи – исследованию о греческом философе Гераклите Темном. Годы пребывания в Дюссельдорфе принадлежат, без сомнения, к самым спокойным в его жизни.

Но не в покое мог найти счастье тот, кто был рожден для бурь и битв. Его тянуло в столицу, где он по крайней мере мог найти обширный круг влиятельных и выдающихся людей – лучших представителей науки и литературы, если уснувшая политическая жизнь не даст ему широкого круга деятельности. С другой стороны, нет ничего невероятного и в предположении, что Лассаль благодаря прекрасным связям графини знал уже тогда, что в высших сферах Пруссии зреют новые веяния, что царствованию психически больного Фридриха Вильгельма IV наступает конец и что вместе с этим сумерки реакции должны уступить место рассвету и пробуждению к живой политической и общественной жизни. Насколько влиятельны были связи его и графини в высших сферах, показывают те известия, которые он сообщал в письмах к Марксу в Лондон, вскоре после начала Крымской войны. Так, 22 февраля 1854 года он сообщает Марксу буквальное содержание ноты, посланной несколько дней назад берлинским кабинетом в Париж и Лондон, описывает настроение высшего правительства: король и почти все министры – на стороне России, между тем как Мантейфель вместе с кронпринцем – на стороне Англии, и передает те меры, которые приняло прусское правительство на всякий случай. До чего сильна была в Лассале потребность близкого общения с центром умственной жизни страны – доказывается уже тем, что он иногда тайком, переодетый извозчиком, посещал Берлин. Но этого мало. Он, который еще несколько лет тому назад ненавистное ему прусское правительство открыто называл «позорнейшим и невыносимым насильственным владычеством», теперь согласился на то, чтобы влиятельный Александр Гумбольдт обратился к тому же правительству с просьбой о разрешении поселиться ему в Берлине. В правительственных кругах, собственно, ничего не имели против этого, но влиятельные родственники графини Гацфельд желали во что бы то ни стало воспрепятствовать тому, чтобы она жила вблизи от них. Они были уверены, что графиня поселится там же, где будет жить ее покровитель, и, чтобы держать ее подальше от себя, они препятствовали въезду Лассалья

в Берлин. Однако Александр Гумбольдт добился этого разрешения у самого короля, и в 1857 году Лассаль переезжает в прусскую резиденцию. Спустя некоторое время переселяется туда, как этого и ожидали, также и графиня.

В Берлине Лассаль закончил свое обширное научное исследование о философии Гераклита Эфесского, которое и вышло в конце 1857 года в двух объемистых томах. Это сочинение доставило ему огромную популярность и славу в ученом мире, сразу поставив его в ряды лучших ученых исследователей того времени. Однако мнения специалистов об этом труде расходятся. Одни рассматривают это исследование как составившее эпоху в истории древнегреческой философии, другие, напротив, утверждают, что оно содержит мало такого, чего нельзя было бы найти у Гегеля, что оно представляет собой лишь «иллюстрацию гегелевских положений гераклитовскими иносказаниями». Но все, не исключая и оппонентов, единодушно признали, что это – глубокий и серьезный труд. Конечно, справедливо то, что Лассаль предстает здесь правоверным старогегельянцем, – надо сказать, что сторонником этой идеологии он оставался всю жизнь. Материалистическое миросозерцание, родоначальниками которого были его друзья Маркс и Энгельс, осталось для него навсегда книгой за семью печатями. Мы это увидим ниже, особенно в его «Системе приобретенных прав».

Внешний конкретный мир, конкретная реальность: науки, искусства, экономический и социальный строй и прочее – все это, на его взгляд, лишь продукты, воплощение идей, проявление логического трансцендентального духа, а категории мысли рассматриваются им как вечные метафизические «сущности», непрерывное движение и вечное развитие которых определяют историю и ее содержание. Как видит читатель, отсюда недалеко до метафизики чистейшей воды.

Основная мысль лассалевского «Гераклита» – это раскрытие вечного процесса мирового движения и развития, рассмотренного в качестве основного принципа всего сущего.

«Понятие процесса образования, тождество всеобъемлющей противоположности, бытия и небытия – есть божественный закон. Сама природа есть только воплощенное проявление этого закона, образующего ее внутреннюю суть: день есть движение, стремление обратиться в ночь, ночь – стремление обратиться в день; восход солнца – лишь непрерывный заход и т. д. Вселенная – это лишь видимое осуществление этой гармонии противоположных начал, – гармонии, которая пронизывает все сущее и управляет им...» («Herakleitos», т. 1, с. 24).

Живой интерес, с которым Лассаль раскрывает сущность

гераклитово-гегелевской философии, становится еще большим, когда он касается этической стороны учения древнегреческого мыслителя. Уже в древние времена, – доказывает Лассаль, – заметили, что Гераклит, поставивший *противоположности* начал основным первоначальным принципом, отрицает противоречия этих начал (т. 1, с. 119). Для Бога нет добра и зла, для Него «все хорошо и справедливо, только люди называют одно справедливым, другое несправедливым» (т. 1, с. 92), – утверждал Гераклит, предваряя этим пантеистическое миросозерцание Спинозы. Отдельная личность вступает в свое существование путем обособления, индивидуализации, посредством отрешения себя от божественного, мирового, всеобщего; ее обособление уже само по себе составляет несправедливость против *общего единства* в процессе непрерывного развития и образования, – несправедливость, которая может быть сглажена лишь возвращением отдельной личности к целому, *общему*. Поэтому этика Гераклита есть в то же самое время вечно основной принцип нравственности и сводится к одному положению: «Самопожертвование ради общего» («Hingabe an das Allgemeine»). С этой точки зрения им осуждаются эгоизм, произвол, надменность и т. п. Поэтому слава, которая выпадает на долю человека лишь после его смерти, есть истинное бытие человека в его небытии, продолжение его земного существования, достигнутое и действительно существующее бессмертие и нетленность человека (т. 2, с. 436). Это целое, *общее* нашло у Гераклита свое конкретное выражение, воплощение прежде всего в *государстве*.

Мы видим здесь поразительное сходство Гераклита с Гегелем. У эфесского философа, как и у его берлинского собрата, государство – высшее проявление объективного духа, абсолютная самоцель (Selbstzweck). У него, как и у Гегеля, государство есть воплощение свободы каждого в единстве всех. Гераклит считает государство воплощением «божественного», Гегель, в своем преклонении перед эллинским идеалом, называет государство «земным богом». И Лассаль, конечно, с особенным удовольствием подмечает это сходство, тем более что это так соответствует культу государства самого Лассаля. Воодушевление и вера Лассаля в великую миссию государства не только как защитника, но и как ревнителя права, прогресса и культуры проходит красной нитью через все его ученые труды, агитационные брошюры и политические речи. Позднее, в страстной полемике с манчестерцами, он, как мы это увидим ниже, в своем преклонении перед культурной миссией государственной машины хватил даже далеко через край.

Уже из этого краткого изложения содержания «Философии Гераклита Темного из Эфеса» читателю будет понятно, почему наш мыслитель с таким воодушевлением и страстностью бросился исследовать философские дебри Гераклита, которого он считал, как мы уже упомянули, прямым предшественником своего великого учителя Гегеля.

Помимо усиленных научных занятий Лассаль умудрялся находить время и для всякого рода удовольствий и веселых развлечений. Для него было так же легко переменить роль кабинетного ученого на роль светского человека, изысканно-деликатного кавалера, как удалиться далеко за полночь из шумного салона в уединение своего кабинета, чтобы, погрузившись в работу, просидеть за письменным столом до утра.

В его комфортабельном доме в аристократическом районе Берлина собирался весь цвет тамошней интеллигенции, а также многие знаменитые корифеи науки, литературы и искусства. Но прежде чем перейти к характеристике того общества, которое группировалось вокруг Лассаля, мы дадим описание его домашней обстановки, заимствованное нами у С. Солнцевой.

«Квартира его представляла смесь утонченной роскоши, комфорта и дилетантизма с серьезно-научным направлением; олицетворением последнего был его кабинет. Небольшая комната с большим рабочим столом, заваленным разными бумагами и письменными принадлежностями, – все просто, серьезно, но вполне изящно. У стола покойное рабочее кресло. Все стены комнаты до самого потолка были заставлены полками, битком набитыми книгами, дорогими фолиантами, древними папирусами, атласами и т. п. Тут же висел небольшой прекрасный портрет графини Гацфельд, снятый в дни ее молодости. За этим кабинетом была небольшая комната, убранная в восточном вкусе низкими турецкими диванами, обитыми дорогими шелковыми восточными материями, уставленная этажерками, столиками и табуретами, покрытыми инкрустацией, и наполненная курительными принадлежностями: роскошными кальянами, дорогими турецкими чубуками с огромными янтарными мундштуками. Из этой комнаты был выход в небольшой зимний сад, наполненный красивыми растениями. Зала, она же и столовая, была увешана хорошими картинами и редкими гравюрами. Здесь же находилось несколько известных статуй в натуральную величину, между которыми была копия бюста Венеры Милосской, весьма хорошо исполненная. Рядом стоял великолепный концертный рояль. Довольно большая, по заграничным размерам, гостиная выходила окнами на улицу и была вся устлана дорогими коврами, тяжелыми бархатными

драпировками, наполнена самую роскошную мебелью, множеством громадных зеркал, бронзы, больших японских и китайских ваз».

Лассаль славился в Берлине как чрезвычайно гостеприимный, предупредительный и любезный хозяин, а описания дававшихся им обедов и устраиваемых вечеров попадали даже в печать. С искренним восторгом рассказывают участвовавшие в обедах и вечерах Лассалья о тех незабываемых часах, которые они проводили в обществе этой обаятельной личности. Стоит лишь Лассалю выйти из своего рабочего кабинета в шумную гостиную, как все лица сразу засияют неудержимым весельем, а блестящим остроумом, метким, сверкающим искрами неподдельного юмора анекдотам и добродушным шуткам, касающимся живых событий или известных общественных и политических деятелей, – нет конца. Все общество заражается ребяческим смехом, поет народные и студенческие песни, и из общего хора выделяется высокий, правда не совсем благозвучный, тенор хозяина. Пение сменяется музыкой в артистическом исполнении Бюлова или декламацией поэта Шеренберга и других. Но еще чаще слышатся шумные споры и беседы на различнейшие темы, которые временами совершенно затихают: внимание всех приковано к увлекательной, брызжущей остроумием речи Лассалья. Оставшись в тесном кругу, он нередко читал своим друзьям отрывки из своих новейших работ и полемических статей. Нечего прибавлять, что величавая, умная, образованная графиня Гацфельд играла видную роль на этих шумных вечерах. Это было чрезвычайно разношерстное, пестрое собрание, – люди самых различных положений, возрастов, занятий, характеров и политических взглядов. Собирает и соединяет их всех лишь необыкновенно интересная личность хозяина, – так магнит притягивает железные и стальные вещи самого различного вида, величины и назначения. Александр Гумбольдт, Савиньи и А. Бёк были одними из самых ближайших его друзей. Они сильно привязались к Лассалю, предрекая ему великое будущее, и защищали его всюду, где и как могли. Часто посещая Лассалья, они любили подолгу проводить время наедине с ним в оживленных спорах и обмене мыслей по различным научным и общественным вопросам, с удовольствием слушая его пылкую остроумную речь. К интимному кругу друзей его принадлежали, между прочим, также и знаменитый в свое время литературный критик Варнгаген фон Энзе, историк Фёрстер, композитор Ганс Бюлов (зять Листа), бывший частым посетителем его дома, – будущий восторженный поклонник Бисмарка, в последние годы своей жизни нередко посвящавший ему свое вдохновение, в то время увлекался

страстными речами и агитацией Лассалья, называя его «хозяином будущего». Чувство дружбы и глубокой симпатии питал к нему Лотар Бухер – известный политический деятель и эмигрант 1848 года. Он был горячим адептом Лассалья, хотя далеко не во всех пунктах соглашался с ним. В первое время агитации Лассалья в пользу учреждения «Общегерманского рабочего союза» Бухер оказывал ему некоторую помощь, но вскоре оставил своего преданного друга, как сам письменно объяснил ему, – «страха ради иудейска». Тем не менее Лассаль, как всегда по гроб верный своим друзьям, впоследствии назначил Бухера своим литературным наследником; но Бухер и тут не оправдал его доверия: он сделался потом самым главным сотрудником и правой рукой Бисмарка в делах иностранного ведомства. «Железный» шеф его, зная ум и дипломатические способности Бухера, не дал, однако, ему выдвинуться, наградив его лишь «чечевичной похлебкой» в виде чина «тайного советника». Как бы в «благодарность» за доверие и привязанность Лассалья к нему, Бухер сжег все те оставшиеся после Лассалья рукописи и бумаги, которые пришлось не по вкусу верному вассалу Бисмарка. Таким образом пропала, например, вся чрезвычайно ценная переписка Маркса и Энгельса с Лассалем.

Однако, опьяняя одних своим гениальным умом, блестящим остроумием, очаровывая своим артистизмом и художественно-привлекательной внешностью, Лассаль вызывает в других, несравненно менее счастливых его соперниках, зависть и затаенную злобу за подавляющее превосходство его над ними. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Лассаль наживал себе в обществе ожесточенных врагов, искавших лишь случая, чтобы устроить ему скандал. Так, один чиновник интендантства, по имени Фабрис, обиженный пристально-насмешливыми взглядами, брошенными на него Лассалем, нанес ему оскорбление и вызвал его на дуэль. Лассаль, будучи всегда принципиальным противником дуэли, несмотря на нанесенное ему оскорбление, сохранил самообладание и отказался. На другой день, во время обычной прогулки Лассалья, Фабрис вместе с приятелем подстерегли своего противника и с остервенением бросились колотить его. Но нападение это оказалось для них безуспешным. Лассаль, нисколько не теряя присутствия духа, до того энергично фехтовал направо и налево, что сломал ручку от своей палки, а врагов сбил с ног, заставив их постыдно бежать с поля затеянного ими сражения. Этот инцидент наделал много шума в Берлине, где общество и без того особенно любило Лассалья. За храбрость, с которой Лассаль защищался во время этого уличного сражения, он, взамен сломанной палки, получил

от профессора Фёрстера в подарок «робеспьеровскую» палку, позолоченный набалдашник которой представлял собой изображение Бастилии. С этой палкой Лассаль не расставался до конца своей жизни.

Все описанное выше было, однако, лишь развлечением в часы отдыха. За наклонностями и забавами светского человека Лассаль ни на одну минуту не забывал высших интересов жизни. Он много и упорно работал в тиши своей богатой библиотеки. Как мы уже сказали, его «Гераклит» произвел фурор в ученом мире и обеспечил ему достойное имя. Но в натуре Лассалья было слишком много красок, в его характере чересчур много граней, чтобы всецело посвятить себя кабинетной науке; его гений оказался слишком разносторонен, его кровь слишком кипуча, чтобы он мог спокойно смотреть из окна своего ученого кабинета на «историческую улицу». Что значила для него его популярность в *небольшом* мире ученой братии, при страстной стихийной потребности живой деятельности на обширной, *всеми видимой* арене! Но если в то время Лассалью не представлялось арены деятельности в действительной жизни, то он не считал нужным отказываться от подмостков театра, чтобы хоть оттуда обращаться к народу, – и он пишет «Франца фон Зиккингена». За исследованием о греческом философе последовала историческая драма, центральной фигурой которой является немецкий рыцарь времен Реформации. Драму эту он начал писать еще во время работ своих над «Гераклитом». В письме к Марксу, в котором Лассаль подробно излагает причины, побудившие его взяться за эту драму, он описывает, как тяжело ему было осознать необходимость заниматься абстрактными теориями после 1848—1849 годов, «после того, как было пролито столько крови и столько дел вопиют о мщении», в особенности, когда видишь, что «все это теоретизирование никакой непосредственной пользы не приносит, что люди продолжают по-прежнему жить спокойно, как будто лучшие произведения никогда не были написаны, а лучшие мысли – высказаны». И он, «как бы для успокоения совести», уделяет часть своего времени работе, «находящейся в такой близкой связи с активно-политическими интересами Германии...» Эту драму, обработанную для сцены, Лассаль послал еще летом 1858 года анонимно в управление королевского драматического театра, которое, однако, отказалось от ее постановки. В начале 1859 года она появилась в печати, подписанная его именем.

«Казалось бы, проще и уместнее было изложить в ученом труде те мысли и выводы, к которым я пришел, изучая данную эпоху, – говорит Лассаль в предисловии к своей драме. – Для меня это, наверное, было бы легче. Но я хотел написать не такое

сочинение, которое годилось бы лишь для книжных шкафов ученых. Для этого я был слишком воодушевлен самим материалом. Моим намерением было сделать внутренним достоянием народа этот, им почти совершенно забытый и известный лишь ученым, великий культурно-исторический процесс, результатами которого живет вся наша современная действительность. Я хотел, чтобы этот культурно-исторический процесс по возможности ожил в сознании народа и заставил бы его сердце забиться в страстном порыве. Власть, посредством которой можно достигнуть такой цели, дана лишь поэзии, а потому я и решился написать драму».

Но, видно, при рождении нашего драматурга у колыбели его собрались все богини – и красоты, и мудрости, и красноречия, и гражданских доблестей, – одна лишь муза отсутствовала, недоставало только прекрасной богини Талии. А потому редко какой гениальный писатель так грешил против своего таланта, как это сделал Лассаль своим «Францем фон Зиккингенем». Отсутствие поэтического дарования и понимания сценических законов так и бьет в глаза при чтении этой дидактической драмы. За исключением отдельных сцен, производящих действительно сильное впечатление, все произведение отличается сухостью и даже некоторой абстрактностью изложения, множеством размышлений и длинных монологов, слишком большой очевидностью тенденции, а стих его отличается шероховатостью. Зато по богатству языка, по обилию, глубине и оригинальности идей это произведение принадлежит, без сомнения, к самым замечательным произведениям новейшей литературы и читается с громадным интересом. Нельзя поэтому не согласиться с одним из друзей Лассаля, посоветовавшим ему лучше излагать свои мысли в прозе, чем в поэтической форме; нельзя не пожалеть, что обычная самоуверенность Лассаля помешала ему последовать этому совету. Спустя два года он и сам признается в письме к Фрейлиграту, что ему «недостает фантазии поэта, а потому драма его представляет собой в гораздо большей степени продукт революционного стремления к действию, чем поэтического дарования».

Перейдем к идеологической стороне драмы, или, как он называет ее, трагедии. Лассаль расходился во взглядах на историческую драму с Гёте и Шиллером, ставя перед ней гораздо более широкие задачи.

«У Шиллера великие противоречия исторического духа являются лишь общей *почвой*, на которой совершаются трагические действия... Таково столкновение протестантизма с католицизмом в „Валленштейне“, „Марии Стюарт“, „Дон

Карлосе“. Душою драматического действия, разыгрывающегося на этой исторической почве, являются... индивидуальные интересы и судьбы, личное честолюбие, фамильные и династические цели... Я же с давних пор считаю высочайшей задачей исторической, а вместе с нею и всякой другой трагедии изображение великих культурно-исторических процессов различных времен и различных народов, в особенности же своего народа. Она должна сделать своим внутренним содержанием, своей душой великие культурные мысли и обостренную борьбу подобных поворотных эпох. В такой драме речь шла бы уже не об отдельных личностях, являющихся лишь носителями и воплощениями этих глубочайших, враждебных между собою противоположностей общественного духа, но именно о важнейших судьбах нации, – судьбах, сделавшихся вопросом жизни для действующих лиц драмы, которые борются за них со всею разрушительною страстью, порождаемой великими историческими целями» (предисловие к «Францу фон Зиккингену»).

Таким образом, Лассаль пожелал сделать действующих лиц своей трагедии живыми олицетворениями и воплощениями «идеи», «внутренней всемирно-исторической мысли», «глубочайших противоположностей общественного духа» поворотной исторической эпохи. Возможно ли полное олицетворение переходной исторической эпохи, продолжающейся иногда целое столетие и более и несколько раз в течение этого промежутка времени меняющей свою подвижную физиономию, насколько это вообще достижимо без того, чтобы не нанести ущерба правде исторической или художественной, – мы здесь рассматривать не будем. Однако Лассаль сам сознает ту опасность, которая грозит в подобном случае драме, – опасность «выродиться в абстрактную, ученую поэзию». Нельзя сказать, чтобы ему удалось миновать эту опасность, как это уже было указано выше. Сюжетом этой трагедии служит известный поход, предпринятый Францем фон Зиккингеном против немецких князей для объединения раздробленной Германии и установления господства единой протестантской церкви, свободной от римского владычества. Это движение мелкого дворянства и рыцарства против крупных феодалов и князей было заранее обречено на полную неудачу вследствие ограниченности их сил, несоответствия между целью и средствами. Вместо того чтобы обратиться за помощью к массам, угнетаемым римским духовенством и крупными феодалами, вместо того чтобы собрать под свое предводительство все недовольные элементы страны, Франц фон Зиккинген опирается на слабосильное рыцарство.

Осажденный в своем замке со всех сторон, не видя никакого спасения, он тут только начинает сознавать свою ошибку и решается обратиться «ко всей нации». Но уже поздно, – и он погибает. Погибает вместе с ним и идея «объединенной Германии под главенством императора-лютеранина». «Будущим столетиям завещаю я месть свою!» – восклицает Ульрих фон Гуттен, и действительно, лишь спустя три с половиной столетия ей суждено было осуществиться. Не только Франц фон Зиккинген, но и сам Лассаль не дожил до этого. Эта идея была лишь идеологическим требованием вымиравшего рыцарства. Сделавшись насущной, назревшей потребностью народившегося класса – буржуазии, она получила свое осуществление лишь с установлением его господства. Итак, не только ошибки в *тактике* были причиной полной неудачи Зиккингена и Гуттена, как это можно было бы заключить, судя по драме Лассалья. Борясь за вышеупомянутую абстрактную идею, они являлись прежде всего представителями классовых интересов средневекового рыцарства. Эти-то классовые интересы, главным образом, были стимулом их борьбы. Это же обстоятельство служило причиной ее неудачи, так как рыцарство во времена Реформации находилось уже в неотвратимом процессе вырождения. И всякая насильственная попытка остановить ход этого процесса должна была лишь *ускорить* его. В этой-то борьбе против исторической необходимости и заключается трагизм положения Зиккингена и Гуттена, чего, конечно, ни они, ни даже сам Лассаль не подозревали. Поэтому читатель и не должен удивляться, что Лассаль возводит двух своих героев в ранг представителей «культурно-исторического процесса, результатами которого живет вся современная действительность Германии». Он и здесь является лишь верным гегельянцем, который считает, что история есть продукт развития «идей». Этим и объясняется та преемственность, которую он устанавливает между реформационной эпохой и современным ему движением в пользу объединения Германии.

Трудно сказать, кто более приковывает наше внимание: отважный рыцарь и государственный муж Зиккинген или же его друг, знаменитый гуманист Ульрих фон Гуттен, «теоретический» представитель мелкого дворянства. «Я сделал Гуттена зеркалом моей души, и это было нетрудно, так как судьба его отличается удивительным сходством с моей судьбой», – писал он впоследствии С. Солнцевой. Хотя во внешних условиях и событиях жизни нашего мыслителя и трудно найти подтверждение этим словам, в особенности в то время, когда он писал эти строки, но для изучения психологии Лассалья Гуттен, а

также Зиккинген и Бальтасар дают богатейший материал. В трагедии мы находим, кроме того, его *profession de foi*^[1] политической борьбы и ее тактики. Нередко, прочитав в этой трагедии какой-нибудь страстный монолог, мы узнаем в ней суфлера, подсказавшего его. Не отражается ли, как в зеркале, душа Лассалья, например в пылкой тираде Гуттена, – тираде, которую он произносит перед капелланом Зиккингена, Эколампадиусом, в ответ на его замечание об «осквернении окровавленным мечом учения о любви к ближним»?

«Почтенный! Плохо вы знаете историю. Вы правы, говоря, что разум – ее содержание, однако формой ее вечно остается насилие!.. Напрасно вы такого дурного мнения о мече! Меч, обнаженный в защиту свободы, есть именно то воплощенное слово, тот родившийся на земле Бог, о Котором вы проповедуете. Мечом распространялось христианство, мечом крестил Германию Карл, ныне называемый нами Великим. Мечом было низвергнуто язычество, мечом освобожден гроб Спасителя! Мечом изгнан был из Рима Тарквиний, мечом удален из Эллады Ксеркс, спасены наука и искусство. Мечом сражались Давид, Самсон, Гедеон! Мечом было совершено все великое в истории, ему же в конце концов будет она обязана всеми великими событиями, которые когда-либо в ней совершатся!» (III акт, 3-е явление).

Насколько эта страстная апология красноречива, настолько же, конечно, и полна преувеличений; но, вспомнив то время, когда она писалась, нельзя не простить нашему рыцарю его, быть может, слишком воинственный дух: в очень широких кругах немецкой демократии пятидесятых годов была чрезвычайно развита вера в волшебную силу слова, и Лассаль, борясь против этого, невольно впал в другую крайность.

Драма его была всего лишь один раз поставлена на сцене гамбургского драматического театра. При всех ее недостатках, она все же была несравненно лучше тех фабрикаций, которые изготовлялись в то время en gros^[2] и заполняли сцены немецких театров. Но то обстоятельство, что управление королевского театра в Берлине отказалось от ее постановки, как нельзя более понятно: революционный дух, которым веет от драмы, слишком бьет в нос, революционная идея чересчур режет глаза и слух. Лассаль скоро убедился, что попытка воздействовать на народ со сцены театра и тем повлиять на судьбы народные оказалась тщетной. Он уже больше не возвращался к ней, а искал случая более непосредственного и более действенного воздействия и влияния. Такой случай не замедлил вскоре представиться, хотя, нужно сказать, желательного влияния на ход дел оказать ему и на сей раз не удалось.

По выходе в свет «Франца фон Зиккингена» Европа находилась накануне итальянской войны, которая должна была оказать большое влияние и на положение дел в Германии. Как известно, в вопросе об освобождении Италии Наполеон III играл роль паладина. Таким образом, против Австрии выступали войска Сардинии и Франции. Австрия принадлежала в то время к общенемецкому союзу, а потому естественно, что в Германии подняли вопрос, какую позицию занять другим союзным государствам относительно Австрии. Вопрос этот значительно осложнялся тем, что война имела двоякое значение. Для итальянцев она являлась средством освобождения и объединения раздробленной и угнетенной родины, между тем как со стороны Наполеона эта война была предпринята из-за собственных династических интересов. Герой знаменитого *сoup d'état*^[3] 1851 года чувствовал необходимость в укреплении господства бонапартистского режима внутри страны, а также усиления влияния Франции на другие державы. К тому же всем было известно, что вдобавок к этим невещественным трофеям Наполеон III «выторговал» от короля Сардинии за свое союзничество и прямое вознаграждение в виде Савойи и Ниццы, которые должны были быть присоединены к Франции, а также поставил условием, что объединение Италии должно быть совершено пока лишь постольку, поскольку это соответствовало интересам Наполеона. Однако Наполеон нуждался в поддержке или по крайней мере нейтралитете других государств по отношению к его планам. Поэтому он вел с помощью своих агентов усиленную агитацию как среди немецких правительств, так и в немецкой печати и политических партиях, доказывая, что Германии нет решительно никакой выгоды поддерживать Австрию и ее деспотизм в Италии, что Австрия представляет собою оплот реакции и что лишь с разрушением австрийского государства настанет светлое время и для Германии. Одним из таких ярых агентов Наполеона был, как известно, также и покойный физиолог Карл Фохт.

С другой стороны, не дремали и австрийцы. Они старались убедить немцев в том, что с усилением могущества Франции на юге Рейну угрожает неминуемая опасность, что, следовательно, немцам приходится защищать Рейн на берегах По. Несмотря на то что доводы наполеоновских агентов совпадали с главными пунктами программы так называемой младонемецкой партии, девизом которой была объединенная во главе с Пруссией Германия, исключая Австрию, – эта партия в своем большинстве высказалась против Франции. Многие из видных ее представителей утверждали, что поддерживать поход Наполеона

– значило бы помогать осуществлению планов и интриг ненавистного им Наполеона. Поэтому они требовали войны против Франции, заявляя, что итальянцы до тех пор не могут рассчитывать на их поддержку, пока будут находиться под протекторатом французского самозванца. Правительство же пока держалось вполне нейтрально.

В этом вавилонском столпотворении наречий и мнений возвысил свой голос и Лассаль, выпустив в свет в конце мая 1859 года анонимную брошюру «Итальянская война и задача Пруссии. Голос демократа». По языку, по силе логики и аргументации в ней тотчас же узнали ее автора, который, впрочем, скрыл свое имя лишь для того, чтобы обеспечить брошюре беспристрастный прием со стороны общества. Уже спустя две недели весь тираж был раскуплен, поэтому Лассаль напечатал ее вторым изданием, на сей раз под своим именем. Брошюре этой он предпослал эпиграф из Вергилия: «Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo» («Если мне не удастся повлиять на богов, я приведу в движение Ахерон»). Этот эпиграф выражает как нельзя более верно всю, как явную, так и внутреннюю, скрытую тенденцию этого политического памфлета. Посмотрим же, в каком направлении хотел он повлиять на «богов»? Или же, в случае неудачи, – куда и как он стремился направить течение «Ахерона»?

Как истинный политический деятель умеет всякий раз сосредоточивать все свое внимание и все силы на решении вопроса, который он и сам рассматривает лишь как один из частных пунктов своей программы, Лассаль концентрирует все свои помыслы на достижении объединения немецкого народа, считая это одним из неминуемых этапов на пути к осуществлению его заветных идеалов. Эту ближайшую цель своих общественных стремлений он делает теперь центральным пунктом своей политической агитации. Она послужила Лассалю, как мы уже видели, канвой для длиннейшей драмы; эту идею он пропагандирует потом в монографии о Фихте, рассматривая ее как политическое завещание великого философа; ее он выдвигает на первый план и в вышеупомянутой брошюре как центральную ось, вокруг которой вращаются все интересы и все проблемы данного исторического момента. Базисом его аргументации служит демократический принцип, «почва и жизненный источник которого есть принцип свободных национальностей. Без него демократический принцип лишается всякой опоры... Национальный же принцип коренится в народном духе, в его праве на самостоятельное историческое развитие и самоопределение». Единственным ограничением этого общего правила служат те «народы, которые не могли собственными

силами дойти до исторического существования», или же те, которые остановились в своем историческом развитии и тем самым «дали возможность более прогрессивным соседям овладеть некоторыми частями их территории и ассимилировать их, к вящему удовольствию этих частей». В силу этого принципа он приветствует героическую борьбу итальянцев за свое освобождение из-под австрийского ига. Во имя этого принципа он оправдывает помощь Наполеона III Италии. Какие бы личные мотивы ни руководили им, – он борется в данном случае за правое дело, осуществляя этим прежде всего и желание французской демократии. Поэтому было бы непростительно из-за ненависти к Наполеону поддерживать Австрию в ее узурпаторских предприятиях. Он, Лассаль, сам как нельзя более ненавидит французского выскочку, но ведь в истории Австрии не меньше, если не гораздо больше, черных, кровавых пятен. Австрийский орел ведь только хищничеством и живет, подавив целый ряд славянских и других национальностей, подчинив себе большую часть Италии. Австрия есть полное, законченное воплощение реакционного принципа, заклятый враг свободы народов. «Мы бы хотели видеть того негра, который, будучи поставлен рядом с Австрией, не показался бы нам блондином!» – восклицает наш автор в порыве своего негодования. К тому же нет более неопровержимого факта, как тот, что достижению объединения Германии препятствовал исключительно лишь антагонизм между Пруссией и Австрией. Ввиду этого итальянская война не только освящается всеми принципами демократии, но является жизненным интересом немецкого народа. Ввиду этого не поддержка, а, напротив, полнейшее устранение Австрии с исторической арены должно быть лозунгом Германии. Инициатива в этом великом национальном деле принадлежит Пруссии. Поэтому ее программа-минимум должна гласить: «На основании принципа национальности Наполеон переделывает карту Европы на юге; прекрасно, – мы сделаем то же самое на севере. Наполеон освобождает Италию; очень хорошо, – мы в таком случае возьмем Шлезвиг-Гольштейн». И в то время, как разрушение пестрого австрийского государства уже началось, Пруссия должна воспользоваться этим благоприятным моментом для того, чтобы под своей эгидой совершить объединение немецкого народа. В этой войне за Шлезвиг-Гольштейн, – войне, которая послужит исходным пунктом для объединения Германии, – немецкая демократия, по его мнению, «готова будет нести даже прусское знамя». Если же голос демократии не будет услышан, «если Пруссия будет медлить и ничего для этого не предпримет, то она этим еще и еще раз докажет неспособность

немецкой монархии к национальному подвигу». Но если правительство вовлечет немцев в войну с Францией – без прямого нападения с ее стороны или же присвоения Наполеоном итальянской территории, отвоеванной у Австрии, – то демократия – «волны Ахерона» направятся против него...

Нельзя не сознаться, что требование Лассалья гегемонии Пруссии и его увещевания приводят в недоумение всякого, кто знает, с какой ненавистью наш автор раньше говорил и писал о Пруссии, как язвительно осмеивал он позднее прогрессистскую партию за ее желания и надежды «видеть в прусском правительстве – в политическом отношении самом отсталом – Мессию германского возрождения». Очевидно, здесь что-то неладно. Однако напрасно, упрекая злонамеренных Маркса и Энгельса в интернационализме, ставят им в пример доброго Лассалья, который будто бы, вопреки им, был «истым немецким патриотом, националистом и даже пруссаком чистейшей воды». Конечно, нельзя не понять «истых немецких патриотов» в их ликовании, но это ликование оказалось чересчур поспешным – и, к сожалению, им вскоре пришлось жестоко разочароваться. Внимательно разобравшись в теории и тактике политической деятельности Лассалья, приходится сознаться, что и здесь у них *war der Wunsch der Vater des Gedankens* (желание породило мысль). В письмах Лассалья к Марксу – их переписка в то время была самая оживленная – мы находим ключ к разъяснению этого недоразумения. Прежде всего здесь мы видим, что *национальный* вопрос существовал для Лассалья лишь постольку, поскольку решение его в желательном смысле стояло в непосредственной связи с его общими *интернациональными* целями. Что же касается тактики его в данном вопросе, то вся она вытекает из того заблуждения, в каком находился в то время Лассаль. Дело вот в чем. Из источников, которые он считал вполне достоверными, но которые на самом деле были мистифицированы, Лассаль узнал, что прусский принц-регент окончательно решил выступить против Франции. Это стало для него несомненным фактом. Ввиду этого он стремился во что бы то ни стало воспрепятствовать тому, чтобы прусское правительство привлекло на свою сторону и общественное мнение. Лассаль старался своей брошюрой дискредитировать эту войну в глазах общества, обратить общественное мнение против прусского правительства и разрушить раз и навсегда популярность его и доверие к нему народа. А в случае, если такая война примет неблагоприятный оборот для одной из воюющих немецких держав, – что, в особенности при отсутствии поддержки со стороны народа, вполне вероятно и возможно, – она тем вернее и скорее повлечет

за собою противодействие со стороны оппозиционных партий и недовольного народа. Следствием же такого оборота дел должно явиться более или менее целесообразное объединение и возрождение Германии. В надежде именно на *такой* исход Лассаль в глубине души даже *желал* «непопулярной» войны Пруссии против Франции. В одном из писем к Марксу, от 27 мая 1859 года, мы читаем:

«Поскольку война, предпринятая правительством против Франции *вопреки* воле народа, окажется благоприятной для нашего движения, постольку же она, поддерживаемая *популярностью в народе*, повлияла бы вредным образом на демократическое развитие нашей страны...»

И далее, в письме к Марксу от 20 июня того же года, он говорит:

«Очевидно, что в наших интересах следующее: 1. Чтобы война развязалась (но об этом позаботятся, как уже я говорил, правительства сами по себе). Все известия, доходящие до меня из *надежного* источника, свидетельствуют, что принц всецело готов стать на сторону Австрии. 2. Чтобы эта война была неудачной (об этом также постараются сами правительства, и притом тем больше, чем *меньше* народные интересы будут содействовать их победе). 3. Чтобы в народе укоренилось убеждение в том, что война предпринята с династическими контрреволюционными целями, – следовательно, она направлена *против* его интересов. Лишь об этом одном мы должны заботиться, и вот это составляет нашу обязанность».

Таким образом, мы видим, что далеко не интересы прусского правительства или действительное признание за ним его национальной миссии руководили автором этой политической брошюры. В вышеприведенном письме Лассаля, от 27 мая, он между прочим пишет:

«Само собою разумеется, я ни на одну минуту не предаюсь заблуждению, чтобы правительство последовало или могло бы последовать по предложенному мною в брошюре пути. Напротив!.. Но тем более я чувствовал себя вынужденным сделать это *предложение*, ибо оно тотчас же обращается в *укор*. Это предложение должно действовать как волнолом, о который разобьются волны этой фальшивой популярности...»

Свое действительное намерение Лассаль излагает однажды в нескольких словах в письме к Родбертусу: «Мы все должны желать видеть объединенную Германию без королевской династии». Без сомнения, такая «дипломатия», которую он еще так недавно сам резко осуждал во «Франце фон Зиккингене», недостойна серьезного политического деятеля, желающего вести за собою

массы, и заслуживает порицания. Мы не говорим уже о том, насколько его тактика была целесообразна, не оказалась ли бы она прямо вредной тому делу, ради которого была пущена им в ход. Лассаль желал создать единую и нераздельную германскую республику, в состав которой вошли бы также и все немецкие земли Австрии, а эту последнюю разрушить как государство до основания. Между тем как результатом такой политики в то время была бы неизбежна гражданская война между южной и северной Германией: известно, что народонаселение южной Германии всецело находилось на стороне Австрии и питало живую ненависть к Пруссии. Впрочем, некоторым оправданием Лассалья служит тот факт, что все планы и программы действий, вменяемые им в обязанность прусской монархии, выражены в гипотетической и условной форме. «Если» и «то» неизбежно сопутствуют всякому обращению его к прусскому правительству и часто дают возможность разглядеть ту канву, по которой вышит этот хитрый узор.

Заветная мечта Лассалья не давала ему покоя. В начале осени 1861 года он вместе с графиней Гацфельд совершил путешествие по Италии, побывав также на острове Капри, где прогостил некоторое время у Гарибальди. По словам Б. Беккера и Брандеса, целью этой поездки было побудить знаменитого итальянского героя предпринять поход против Австрии, чтобы таким путем произвести объединение Германии. Однако, как нам известно, этого не случилось. Таким образом, как мы уже выше сказали, непосредственного воздействия и влияния на ход событий Лассалью достичь не удалось. Между тем им все более и более овладевало сильное желание принять активное участие в политической жизни родины. В его письмах к лондонским друзьям, относящихся к тому времени, Лассаль часто возвращается к этому вопросу. Так, 21 марта 1859 года он пишет Энгельсу:

«С этого времени я, вероятно, останусь при своих занятиях по политической экономии и философии истории (я говорю об истории в смысле развития социальной культуры), если начало практических движений, долженствующее наконец наступить, не приостановит все более обширные теоретические работы, что, понятно, было бы очень желательно. С какой охотой я оставил бы ненаписанным все то, что я *знаю*, если бы взамен этого мне удалось сделать часть того, что мы *в состоянии* совершить».

Итак, Лассаль не оставлял мысли о том, чтобы привести в движение «Ахерон». Но пока в общественно-политической жизни Германии царил полнейший застой, он продолжал усиленно, днями и ночами, работать над своим вторым научным

исследованием – «Системой приобретенных прав», готовясь в то же время к целому ряду других теоретических трудов. Но наш Фердинанд, – любя науку, конечно, не меньше, чем шекспировский Фердинанд, король Наваррский, – далек был, однако, от мысли быть врагом и преследователем «Амура», каким был тот...

Уже с давних пор Лассаль страдал хронической болезнью, периодически одолевавшей его сильный организм. Из воспоминаний Солнцевой видно, что это был застарелый ревматизм. Весной 1860 года к этой болезни присоединилось также и страшное переутомление, вызванное чрезмерной умственной работой и связанным с ней сидячим образом жизни.

«Итак, для меня наступает *послеполуденное* время! – пишет он в исполненном тихой грусти письме к поэту Фрейлиграту. – Я слишком хорошо понимаю это чувство! Я понимаю его тем более, что – не знаю по какому праву – так долго считал себя носителем вечной молодости. Но вот с некоторого времени начинаю убеждаться, что я ничем не отличаюсь от других. Хотя я еще молод и едва достиг полудня жизни, но уже чувствую приближение старости в виде болезни. Куда делась та непобедимая, все и вся осмеивающая мощь юности! Уже несколько месяцев я сильно страдаю и должен привыкать к болезням и к тому, что я уже более не могу всевластно распоряжаться собою, как это было прежде. Но ты прав, говоря, что душа моя остается непреклонной!..»

Чтобы предпринять радикальное лечение, Лассаль отправился летом 1860 года на воды в Ахен. Здесь-то, выздоравливая от физических недугов, он «занемог» сердцем. Предметом его первой «гигантской», как и всё, что с ним происходило, страсти была девятнадцатилетняя русская девушка Софья Солнцева, приехавшая сюда вместе с отцом для восстановления его здоровья. Об этом эпизоде из жизни Лассалья существуют «Воспоминания» Солнцевой и письма Лассалья к ней. Подлинность этих писем, опубликованных на трех языках, – после того как она была заподозрена некоторыми господами в Германии, – засвидетельствована в суде и не подлежит сомнению.

Уже с первого момента их знакомства увлечение Лассалья молодой девушкой переросло в такую бурную страсть, что спустя несколько недель он, весь взволнованный и трепещущий, изливает перед ней в пылких речах свое «необузданное, неудержимое» чувство, признаваясь, что «для него немыслима жизнь без нее», и «моля ее о взаимности»... «Казалось, каждый мускул его лица отражал все то, что вырывалось у него в словах», – говорит Солнцева в своих «Воспоминаниях». Эти

страстные излияния льстили самолюбию девушки, «трогали ее, но сердце ее молчало». Тем не менее из жалости к нему она ответила, что «может быть, полюбит его».

Конечно, трудно сказать, чем могла приковать к себе так долго дремавшее сердце этого железного человека молодая русская женщина. Она ни по уму, ни по характеру, ни по красоте не представляла собою ничего особенно выдающегося и к тому же не чувствовала и следов сердечного увлечения к своему знаменитому обожателю. Но всякий, кто как-то присматривался к женщинам немецкого буржуазного круга, среди хотя и лучшей его части которого вращался Лассаль, невольно остановится на следующем объяснении. Среди умственной пустыни, которую представляет собою женский мир немецкой буржуазии с его полнейшей безыдейностью, отсутствием всякого образования и необычайным филистерством, интеллигентная, исполненная лучших стремлений русская девушка времен деятельного пробуждения нашего общества представляла собой, что называется, «настоящий оазис».

«Мужчины нашей буржуазии обладают силою ума и образования. Но женщины еще не получили того аромата образованности, той печати хорошего тона и манер, которые так необходимы для каждой женщины аристократического круга. Конечно, есть исключения, но они весьма редки. Отделив эти исключения, окажется, что наши женщины составят совсем неподходящее Вам общество», – писал Лассаль Солнцевой.

Наша же героиня обладала не только хорошими манерами, отличалась любезностью, не только прекрасно изъяснялась на французском языке, пела и играла, но была девушкой живой, неглупой, мечтавшей о полезной деятельности и способной говорить о «высоких материях». Все это при ее молодости и свежести делало новую знакомую в глазах Лассалья особенно привлекательной. Большим же знатоком женского сердца, как это еще раз показала его последняя роковая любовь, он вообще-то и не был. К тому же, по нашему мнению, и тут, как и в предсмертной любовной истории, одна черта его характера сыграла немалую роль, эта черта – его необыкновенное упорство в достижении желанной цели, – упорство, которое тем более растет и крепнет, чем больше препятствий преграждают ему путь для достижения этой цели. Гордость Лассалья не могла допустить, чтобы он, «заколдованный принц», выходявший во всех случаях жизни победителем, баловень и любимец всех женщин, которые наперегонки старались завладеть им, – чтобы он мог встретить равнодушие со стороны избранницы его сердца. Итак, ее сдержанность и холодная любезность лишь удесятирили

пробудившееся в нем чувство, а ее рассудительный и холодный ответ – «может быть, полюблю» – он принял за скромный и целомудренный ответ молодой и чистой девушки, которая, чтобы так сказать, в действительности должна «совсем уже любить». И он неотступно стал добиваться ее руки. Настроение его постоянно «вибрировало»: он то умолял, то деспотически требовал взаимности. Они разъехались: Лассаль возвратился в Берлин, Солнцева отправилась вместе с больным отцом в Дрезден, обещав оттуда ответить ему письменно. Чтобы вполне обеспечить за собой победу, он решил ближе познакомиться ее с собой, со своей прошлой жизнью и с тем, что сулит ему будущее. Фердинанд просит ее подождать с ответом, пока она не получит «задушевной исповеди его». Эта «Исповедь», содержащая более двадцати четырех печатных страниц, принадлежит к самым лучшим и интереснейшим характеристикам личности Лассаля. Как в его «Дневнике» предстает перед нами юноша Лассаль – весь как живой, – точно так же в «Исповеди» фотографически верно отражается Лассаль в зрелости – весь, со всеми хорошими и дурными сторонами его огненной натуры. Исключая излишнюю драматичность и немногие преувеличения, которые, однако, объясняются лишь разгоряченным под влиянием самомнения воображением, – эта «исповедь» отличается замечательной правдивостью, доходящей часто до бессознательной наивности. Его крупная личность была слишком характерна, черты его душевного образа были слишком резки и оригинальны, чтобы они не проявились всецело хотя бы даже в «приукрашенном» портрете. Ввиду этого мы передадим содержание этой «Исповеди» по возможности его собственными словами.

«Мысль о браке?! До сих пор любовь моя была только пожирающим огнем, в который бросались женщины. Я не знаю женщины, которая, убедившись хоть на минуту, что мысль жениться на ней мне выносима, не постаралась бы захватить меня. Я говорил Вам, что всегда избегал молодых девушек. Два раза только я признавался в любви молодым девушкам, любившим меня страстно и вызывавшим желание обладать ими, – и в обоих случаях я начинал с искреннего признания, что никогда не женюсь на них. Помимо этих двух исключений, я всегда придерживался только замужних женщин, у которых был, как Вы раз сказали, „баловнем“, и некоторые из них действительно любили меня. Знаете ли Вы, что женщины, когда любят, имеют привычку задавать вопросы? И не было ни одной, которой бы я не ответил со своей обычной откровенностью, что, будь она свободна, я все же не женился бы на ней. Но, несмотря на это и, может быть, вследствие именно этого, я был сильно любим. Я

хотел брать, но не отдавал себя. Да, я клянусь Вам, до сих пор не было в мире женщины, мысль о женитьбе на которой не вызвала бы во мне дрожь. Вы – единственная, которую я люблю достаточно нежной любовью, чтобы отдать себя Вам, – единственная, для которой я готов принести громадную жертву – жениться, но Вы знаете мое мнение о жертвах, приносимых любви: я сознаю их не как жертвы, а как высшее счастье».

Чтобы дать своей избраннице возможность узнать, с кем она имеет дело, а также и силу ее чувства к нему, Лассаль между прочим перечисляет в этой «Исповеди» все жертвы и возможные страдания и лишения, которые придется перенести ей, если она соединит свою жизнь с его жизнью.

«Прежде всего, Софи, Вам надо хорошенько поразмыслить о том, что я – человек, посвятивший свою жизнь любимому делу, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Этому делу суждено торжествовать в нашем веке, но оно еще много раз подвергнет значительным неудачам и опасностям своих сторонников. В этой борьбе я могу встретить серьезные преграды, от которых, впрочем, никакая привязанность не отвратит меня. Мое состояние, моя свобода, сама жизнь моя всегда могут быть подвергнуты опасности. *Ничто* неверно со мною. Выйдя за меня, Вы оснуете Ваше существование, постройте Ваш дом на вершине вулкана! Хватит ли у Вас отваги перенести в случае неудачи все: изгнание, тюрьму, разорение, бедность и даже саму смерть? И что еще хуже: жизнь, полную лишений? Если нет, то сторонитесь тех чудовищных существ, которые сегодня имеют видимость полного счастья, а завтра разносят всюду обломки своего крушения... Перенесете ли Вы второй удар, который я Вам нанесу? Софи, я – еврей; мой отец и моя мать – евреи! И хотя внутренне я так же мало еврей, как и Вы, – даже меньше, если это возможно, я, однако, еще не оторвался от этой религии, потому что не хотел принять другую... Правда, я бы мог принести Вам жертву – принять христианство, хотя по нашим законам в этом нет надобности и браки христиан с евреями позволяются. И если бы это было неизбежным условием, я бы это сделал, но это дорого бы мне стоило, Софи! Я скажу Вам, почему... Я – человек политики, и, что еще важнее, я нахожусь в положении главы партии. И партия моя служит принципу: никогда не уступать никакому предрассудку, считая это низостью, и никогда не совершать лицемерного поступка».

Переходя к описанию своего общественного положения, он говорит:

«Вообще – очень мало кто у нас, в Пруссии, ко мне равнодушен. Почти все наше общество по отношению ко мне

делится на две партии. Одна, к которой принадлежит вся аристократия и большая часть буржуазии, часто даже лица с легким оттенком либерализма, – боится и ненавидит меня. Другая партия, к которой принадлежит остальная часть буржуазии и народ, – уважает, любит и даже нередко обожает меня. Для людей этой партии я – человек великой гениальности и характера почти нечеловеческого, от которого они ждут великих деяний. Другие, враги, также ждут от меня больших дел. Но именно потому, что они боятся меня более чем кого-либо другого, они так непомерно ненавидят меня, что я не могу дать Вам верного понятия об этой всепожирающей ненависти... О, поверьте мне, Софи, есть существа, предназначенные быть одинокими, к которым не должно подходить ни одно счастливое создание. Прочтите мою трагедию. Все, что я мог бы сказать Вам, я высказал в Гуттене. Он также должен был выносить всю клевету, ненависть, всякую враждебность... Только последующие поколения справедливо оценят людей, подобных ему. И вот почему такие люди принуждены устраивать себе печальное счастье в отречении от всякого истинного и действительного счастья... Правда, – я не скрою этого от Вас – весьма возможно, что, если известные события совершатся, жизнь Ваша, если Вы будете моей женой, будет представлять собой поток движения, шума и блеска. Но не правда ли, Софи, не следует ради личного счастья спекулировать великими вопросами, которые составляют цель усилий всего человеческого рода? Итак, на это отнюдь не следует рассчитывать».

Описывая Софье свое финансовое положение и говоря о средствах, на которые им придется жить, Лассаль прибавляет, что мог бы, помимо своих доходов, зарабатывать очень много денег.

«Но я этого никогда не сделаю. Да останется далеко от меня это несчастье, эта умственная проституция – иметь в умственных трудах целью добывать деньги. Нет ничего справедливее, как рассчитывать на заработок в трудах материальных. Но нет ничего более недостойного, неестественного, ничего более разрушающего, как поступать так в отношении трудов ума, принадлежащих к совершенно другому разряду вещей».

Конечно, при четырех тысячах рублей ежегодного дохода немудрено было морализировать насчет «умственной проституции»! Но откуда же взялись и те средства, которыми он располагал? Не есть ли это плод умственного труда?

Трогательны в этой «Исповеди» слова его, касающиеся графини. Описав ее участь, свою долголетнюю борьбу за ее освобождение, Лассаль кончает объяснением своих чувств к графине и просьбой любить ее.

«Итак, Софи, потому что я люблю графиню как сын, – принимая меня как мужа, Вы должны будете любить ее как мою настоящую мать и с истинною нежностью дочери, иначе я не буду счастлив. Но также, если Вы будете добры с нею, она скоро полюбит Вас более, чем любит меня! Она полюбит Вас как свою дочь так же нежно, как всегда любила своих собственных детей. Я надеюсь убедить ее жить с нами, чтобы жить вместе счастливо втроем».

Получив эту «Исповедь», Солнцева, «сильно взволнованная, почти решалась дать согласие», но тут перед ее глазами предстала далекая родина, охватила тоска по ней и желание скорее возвратиться туда.

«Чужим показался мне и Лассаль со всею его страстью. Я не могла мириться с мыслью – расстаться ради него с родиной. Родину я любила больше. Я не умела тогда отдать себе ясного отчета в тех чувствах, которые питала к Лассалю, но мои колебания должны были доказывать мне, что в сердце моем не было любви к нему, что только ум мой находился под впечатлением его гениальной личности. Тогда я не понимала, что малейшее колебание в вопросе любви доказывает ее отсутствие. Я только страшилась сделать фальшивый шаг, который мог бы погубить меня и его... Мне казалось невозможным отвергнуть любовь Лассалья, и еще более невозможным принять ее; он требовал любви, а я сознавала, что в сердце моем ее нет и что меня обманывает моя голова».

Тем не менее Софья, мучимая сомнениями, не решилась отказать Лассалю, она обещала дать ему окончательный ответ из Витебска, где жили ее родные. Собираясь перед отъездом в Россию заехать в Берлин, чтобы проститься с ним, Софья просила его не касаться, во время пребывания их там, этого вопроса и вести себя с нею по-старому, как с другом. Лассаль предвидел ее ответ, то есть отказ, и именно потому, что предвидел его, дал слово, по мере своих сил, не касаться их отношений и вести себя так, как это ей желательно. Однако он оказался не в силах выполнить данное обещание. Настроение его непрерывно менялось: он то впадал в уныние, то опять овладевал собою. Наконец, на третий день их пребывания в Берлине, Лассаль не выдержал роли и, весь бледный, осунувшийся, дрожащим голосом стал настойчиво добиваться ее согласия, ее взаимности.

«– Лассаль, я не люблю Вас, совсем не люблю; окончим это. Мне жаль Вас, но я не могу питать к Вам ничего, кроме дружбы!..

– Я не хочу этого слышать! Теперь я не хочу Вашего ответа. Дома, в России, Вы будете скучать по мне; я не принимаю здесь Вашего отказа...

Казалось бы, такой категорический ответ должен был наконец раскрыть ему глаза, но он не переставал надеяться. Вечером того же самого дня пароксизм этот повторился. Лассаль, умоляя отца Софьи принять участие в нем, припал к нему на грудь и конвульсивно зарыдал. Наконец наступило время их отъезда в Россию. Лассаль, конечно, сопровождал их на вокзал. Не проходило и четверти часа, чтобы он не повторял: „Я жду ответа из России, но Вы не спешите, хорошенько проверьте себя!“ Глядя на него, печального, тоскливого, я дала ему слово исполнить его желание. На вокзале, пока мы сидели в ожидании отхода поезда, Лассаль был в нервном, лихорадочном напряжении; сидя возле меня, он не мог ничего говорить, молча глядел мне в глаза, и когда пытался говорить, то слова его обращались в глухие несвязные звуки и сдержанные стоны. Я не могла без слез смотреть на него, мое горло нервно сжималось, я была в состоянии, близком к обмороку, но старалась тщательно скрывать его, чтобы не подать ему ложной надежды. Я все думала, как было бы хорошо, если бы мы прощались по-прежнему, как друзья! Усадив нас в вагон, он, скрестив руки на груди, прислонясь спиной к чугунному столбу, стоял такой грустный, бледный, что этот образ – я видела его в последний раз – навсегда запечатлелся в моей памяти. Когда наш поезд тронулся, он быстро рванулся за ним, но так же быстро остановился, махнул рукой, пошатнулся и опять прислонился к столбу. Поезд быстро помчался, и он пропал из виду...»

Вместе с поездом умчались и все надежды и мечты его, хотя Лассаль все еще старался обмануть себя. После отказа Солнцевой, присланного из России, они обменялись еще несколькими письмами. Все эти письма к ней проникнуты неизменным чувством глубокой, тихой грусти. Так закончился «романический эпизод», принесший Лассалю глубокие страдания. Впрочем, это была лишь временная слабость, овладевшая им, в особенности по причине нервного истощения и болезней. Человек, обладавший могучей волей, он вскоре сделался опять ее хозяином.

Лассаль, после понесенной им неудачи, возвратился к своим работам. В 1861 году он напечатал во втором томе «Демократических исследований» небольшую статью о Лессинге, написанную, так сказать, мимоходом еще в ноябре 1858 года по поводу появившейся тогда известной книги Штара «Жизнь и сочинения Лессинга». Мы не будем подробно останавливаться на этой статье, так как она ни в каком отношении не представляет собою чего-либо выдающегося. На это не претендовал и сам Лассаль. Он был обрадован появлением вышеупомянутой книги, в которой впервые ясно отмечалось влияние Лессинга на

общественную и политическую жизнь Германии. Его статья имела целью подчеркнуть это влияние и значение великого писателя, причем в своих рассуждениях Лассаль следует главным образом взглядам Гейне, высказанным им в книге о Германии. Он, подобно Гейне, рассматривает Лессинга как второго Лютера Германии. Находя большое сходство между эпохой Лессинга и своей, он видит в Лессинге, как прежде в Гуттене, отражение своего собственного мирозерцания. «Сходные условия общественной жизни, – восклицает он, – вызывают и сходные между собою характеры!» Быть может, себя-то Лассаль и считал тем «характером», третьим реформатором, который призван закончить дело двух его предшественников...

В том же году появилась наконец и его «Система приобретенных прав. Опыт примирения положительного законодательства с философией права». Это колоссальное исследование, посвященное его отцу, состоит из двух томов: «Теория приобретенных прав и столкновение законов» и «Сущность римского и германского наследственного права в его историко-философском развитии». Как автор совершенно справедливо замечает в своем предисловии, этот труд дает бесконечно больше того, что обещает его заглавие. Лассаль имел целью исследовать не только исключительно теоретические, но и непосредственно-практические вопросы. Задачей, которую он себе поставил, была «научно-юридическая разработка той политико-социальной мысли, которая лежит в основе всего современного исторического периода».

«Что составляет внутреннюю причину всякой современной политической и социальной борьбы? – спрашивает Лассаль и тут же отвечает: – Понятие о приобретенном праве снова подвергается спору, и этот спор составляет животрепещущую сущность всех социально-политических междоусобий нашего столетия. В юридическом мире, в политике, в экономике понятие о приобретенном праве является побудительной силой всех дальнейших формирований, но где юридическое как частно-правовое совершенно отчуждается от политики, там оно является еще более политическим, чем все политическое, так как оно в таком случае составляет элемент *социальный*».

К сожалению, характер и размеры нашего очерка не дают нам возможности подробно остановиться на этом исследовании, представляющем собой «гигантский продукт человеческого трудолюбия», как выразился однажды сам Лассаль. Поэтому постарайся хотя бы в самых общих чертах изложить содержание этого труда. Мы укажем как на блестящие стороны, так и на кардинальный недостаток его, вытекающий, впрочем, не из

недостаточной разработки исследуемого вопроса, а из общего историко-философского мировоззрения нашего автора, что, конечно, тем более обязывает нас коснуться этого недостатка.

Отправной точкой для Лассалья служит мысль, что после Гегеля философия права еще больше удалилась от позитивного права, чем это было до него, но что в этом, однако, сам Гегель виноват меньше всего. Последователи его школы вместо того, чтобы перейти от общих отвлеченных категорий к исследованию реальной жизни, к разработке философии права «в смысле философского развития отдельных конкретных правовых учреждений», позаботились лишь о том, чтобы как можно дальше очутиться от этой конкретной действительности, занимаясь лишь повторением давно известного. А между тем от гегелевских логических абстракций, как и от его философии права, как и вообще от всей системы его философии духа, не должно оставлять камня на камне. Единственно *вечным достоянием* нашим от всего философского здания Гегеля должны быть лишь *основные принципы* и *метод* его построения, то есть рассматривание исторических явлений и фактов как результата совершенно самостоятельного *развития идей* и диалектического метода научного исследования. Основная ошибка Гегеля заключается, по мнению Лассалья, в том, что он берет явления, представляющие собой лишь преходящий продукт преходящего исторического духа, как вечные незыблемые истины. Так, в философии права он рассматривает собственность, наследственное право, договор, семью и прочее как логические вечные категории, в то время как они находятся в постоянном процессе изменения, в постоянной причинной зависимости от данного исторического момента, то есть соответственного исторического духа данного народа. И действительно, мы видим, что римские понятия о собственности, наследственном праве, договоре, семье и прочем совершенно иные, чем древнегерманские, то есть, другими словами, что «философия права как принадлежащая к области *исторического* духа, не имеет дела с логически вечными понятиями, что правовые учреждения представляют собою лишь реализацию исторических *понятий* духа, выражение духовного содержания различных народов различных исторических эпох, и только как таковые и могут быть понимаемы». Что же касается «приобретенных прав», то такими должны считаться только те права, которые приобретены личностью посредством собственного действия и воли. Но и права, приобретенные силой индивидуального волевого действия, не всегда остаются неприкосновенными и не застрахованы от обратного действия новых законов, так как личность может

своими действиями или свободным договором обеспечить себе или другим права лишь постольку и на такое время, поскольку и пока существующие во всякий данный момент законы позволяют это. Всякий период времени пользуется полной автономией и не может быть подчинен или находиться под диктатурой другого периода времени. Итак, единственной неизменной основой и источником права является *общее сознание* всего народа, общий дух его. Поэтому, если при изменении этого общего сознания отменяется какой-либо из существующих правовых институтов, как, например, крепостное право, феодальное право, цехи, право свободной охоты, свобода от поземельных податей и т. п., то тут не может быть и речи о нарушении исторически приобретенных прав, а также и о вознаграждении. Ничто не может объявить себя неприкосновенным на все времена и вопреки всем принудительным или запретительным законам.

Все эти воззрения Лассаль проводит по всем юридическим сферам с блестящей последовательностью и единством. С этой точки зрения он подробно анализирует в виде «величайшего примера» римское и германское наследственное право в его историческом и философском развитии. Как известно, римское наследственное право возникло из идеи римского народа о бессмертии души, является продолжением *субъективной* воли умершего и выражается поэтому главным образом в наследовании по завещанию. Древнегерманское наследственное право коренится в идее *семьи*, семейной воле, а потому выражает семейное право на имущество умершего, – право, имеющее законную силу не только после смерти владельца, но и при жизни его, и потому не основанное на личном завещании. В настоящее время все эти устаревшие воззрения прекратили свое существование, поэтому и наследственное право должно быть изменено. Современный народный дух находит свое выражение в идее о государстве. Современный порядок наследования основывается на «*семье как государственном институте*», на «общей воле государства, регулирующего наследство», поэтому не право родства или право по завещанию, а «регулирование наследства в пользу общества» является в настоящее время естественным правом.

Кому не приходилось изучать это блестящее исследование, тот не испытал на себе *всего* чарующего обаяния тонкого, глубокого, диалектического ума Лассаля, той удивительной легкости, с которой он разбирается во всех запутанных и сложнейших вопросах права и философии, того изобилия глубоких знаний, той необыкновенной неуклонности и последовательности мысли и прекрасного изложения самых

абстрактных и темных вопросов науки. К тому же «Система...» написана с беспристрастием, которое – при сравнении с «беспристрастием» такого ее критика, как известный профессор Б. Н. Чичерин (см. статью Чичерина о Лассале в «Сборнике государственных знаний», т. V), – можно с полным правом назвать «аристидовским». И там, где всего этого достаточно, там, куда эти обширные знания и глубокий аналитический ум проникают, – там Лассаль достигает своего апогея. Но в том-то и дело, что всего этого недостаточно, что *не во все* сферы проникает его изощренная мысль, отчего страдают не столько те или другие частности, сколько – весь его труд в целом. Громадная и, скажем прямо, главнейшая область, которая должна была бы сделаться основным базисом его философско-юридических исследований, остается для него закрытою книгой. Эта главнейшая область – *экономическая, социальная структура* древнего римского и германского мира, на почве которой и выросли их правовые институты. Лассаль вполне основательно опровергает основную ошибку Гегеля, доказывая, что абстрактные категории не суть вечные, неизменные формы, а являются исторически изменяющимися, преходящими элементами. Но, видя в этих преходящих формах и изменяющихся началах лишь проявление исторического духа различных народов, «реализации исторических понятий духа», он тем самым останавливается на полдороге. Мы видим здесь Лассалья, отрешившегося от многих догматов ортодоксального гегельянства, но не сказавшего ему своего последнего, самого главного «прости-прощай».

В самом деле, в силу чего римское наследственное право является продолжением *субъективной* воли, а древнегерманское – выражает *семейное* право и волю? В силу того, отвечает Лассаль, что в Риме господствующей идеей является «идея о бессмертии души», что умерший считался еще присутствующим при домашнем очаге, властвующим над окружающим живым миром и ревниво охраняющим свое достояние. Таким образом, для примирения загробной воли покойного со свободой живых распоряжаться его имуществом римляне создали право завещания, которое всякому дает возможность назначать живого продолжателя своей воли. Поэтому-то в римском наследственном праве и отразился «римский дух». Древнегерманское же наследственное право вытекает из «идеи германской семьи», которая выражает, согласно Гегелю, «нравственное тождество лиц, имеющее своим вещественным основанием уже не установление субъективной воли, но чувствующееся единство духа или *любовь*», что в непосредственной форме является тождеством крови. А для более ясной характеристики различия

между римским и германским духом он в примечании к этому кратко формулирует: «Римский дух так относится к германскому, как *воля* к *любви*». Но почему сущность и отличие римского духа – воля, а германского – любовь? Что дало «идеям» и «понятиям» исторического духа такую могущественную силу? Как они развились? Под влиянием чего эти характерные стимулы потеряли свою силу теперь? На все эти столь важные и неизбежные вопросы мы у Лассалья ответа не найдем. Мы вертимся в этих римском и германском «духах», точно белка в колесе. Ведь эти «идеи», «понятия» и «дух» народов образовались на известной материальной почве, среди конкретных жизненных отношений, которые и нужно было исследовать, чего, однако, ни в коем случае нельзя сделать, глядя на них исключительно сквозь очки юриста или спекулятивного философа. Если бы Лассаль затронул эту почву, и притом не слегка, а глубоко забирающим плугом, и исследовал бы ее составные части, то эта разработка озарила бы совершенно новым светом самые затаенные уголки римского и германского права, объяснила бы осязательно различие между римским и германским народным духом, а Лассалья предохранила бы от той же самой роковой ошибки, в которую впадали прежние философы права и против которой он сам же полемизировал в начале своей книги.

Однако нужно сказать и то, что едва ли Лассаль был бы в состоянии справиться с такой грандиозной работой – по той простой причине, что в то время, когда Лассаль писал свою «Систему...», историческая наука о первобытных и древних народах находилась еще в эмбриональном состоянии, и притом до такой степени, что в схеме истории собственности, даваемой Лассалем в «Системе...», первобытная община даже не упоминается. Лишь впоследствии труды Бахофена, Мак-Леннана, Тэйлора, Лёббока и в особенности Льюиса Моргана заложили фундамент этой науки. Морган в своем гениальном исследовании «Ancient Society» («Первобытное общество»), появившемся в 1877 году, не только ярко осветил общую картину развития первобытной жизни человечества, но и ответил на все те вопросы, которые предстояло разрешить Лассалю. В «Первобытном обществе» Моргана читатель найдет ключ для уяснения вопроса, почему римляне выступили на историческую арену с совершенно иными понятиями о собственности, с совершенно иным наследственным правом, чем германцы времен Тацита. Но если такое *решение* вопроса было невозможным в конце пятидесятых годов, то правильная *постановка* его была даже обязательна.

Все эти соображения мы привели не для того, конечно, чтобы умалить значение исследований Лассалья, а исключительно с

целью объяснить читателю основное мировоззрение автора, которое отразилось в этом труде не менее ярко, чем в «Гераклите», и которое всегда было и осталось *идеологическим*.

«Система приобретенных прав», а также «Философия Гераклита Темного из Эфеса» были лишь подготовительными работами, отдельными камнями целого научного здания «Системы философии духа», которую Лассаль задумал написать, выработав подробный план этого сочинения еще в 1844 году, будучи еще девятнадцатилетним юношей. Кроме того, он собирался написать «Основы научной политической экономии». Однако ни то, ни другое сочинение ему написать не пришлось. Политическая борьба и агитация вскоре совершенно поглотила его, рожденного борцом *par excellence*.^[4]

Прусский король Фридрих-Вильгельм IV, закончивший свой жизненный путь умопомешательством, умирал медленной смертью. Вместе с установлением регентства началась и так называемая «новая эра». И после суровой реакции, целых десять лет державшей в своих железных объятиях Германию, повеяло весенним, свободным ветром. Принц-регент, поставивший себе целью – пока еще тайной – ниспровержение австрийской гегемонии, старался привлечь на свою сторону либеральные слои немецкого бюргерства, назначив либеральное министерство. Эта новая политика также имела целью избавить прусскую монархию от опеки феодального дворянства.

Лассаль страстно жаждал принять непосредственное участие в политической жизни страны. Но для этого ему недоставало прежде всего свободной печати. Либеральная пресса, торжествовавшая легкую победу, доставшуюся либерализму, и не перестававшая доказывать свою лояльность, была ему далеко не по вкусу. В одном из писем его к Марксу он так отзывается обо всей немецкой печати: «О, наша полиция, что бы ни говорили, все же гораздо более либеральное учреждение, чем наша печать». Поэтому Лассаль намеревался издавать большой демократический орган. Он приглашал Маркса и Энгельса принять участие в его редактировании, так как ожидал, что вместе со вступлением Вильгельма I на престол будет объявлена и всеобщая амнистия. Для переговоров по этому делу к нему в Берлин весной 1861 года приезжал Маркс. Ожидавшаяся амнистия была действительно объявлена, но она коснулась лишь тех политических эмигрантов, которые оставили Пруссию не более десяти лет назад. Остальные же, каких было большинство, теряли свое прусское подданство и, желая возвратиться на родину, должны были добиваться его так же, как и все иностранцы. Таким образом, за правительством оставалось право

выбора. В последнюю категорию и попали Маркс и Энгельс. Несмотря на то что Лассаль усердно хлопотал о принятии Маркса в прусское подданство, либеральный министр Шверин решительно отказал ему в этом. Вместе с тем рухнули и планы Лассалья об издании газеты.

В начале осени 1861 года Лассаль вместе с графиней Гацфельд совершил, как мы уже сказали выше, путешествие на остров Капри к Гарибальди. Из этой поездки он возвратился лишь в январе 1862 года. Он нашел положение дел в стране сильно изменившимся. Разность интересов либерального бюргерства и абсолютной монархии не замедлила вскоре обнаружиться. Дружелюбные отношения обратились во враждебные и до того обострились, что прямое столкновение было неминуемым. Но либеральная партия, сложившаяся в «германскую прогрессистскую», успела уже сплотить вокруг себя все, что было оппозиционного в стране, и имела за собою большинство в прусской палате депутатов и общественное мнение страны. Общество с сочувствием следило за парламентской борьбой, предпринятой прогрессистами во время так называемого «военного конфликта», и возлагало большие надежды на ее успешный исход, на торжество парламентского режима. Эти надежды, как известно, ничуть не оправдались. Немало виноваты были в этом и сами прогрессисты. Не говоря уже о том, что их «конституционная» борьба велась с недостаточной энергией и смелостью, политика прогрессистов, кроме того, страдала коренным внутренним противоречием. Отказывая прусскому правительству в его требованиях средств на реорганизацию армии – ввиду того, что эта реорганизация только повела бы к укреплению прусского абсолютизма и феодализма, – прогрессистская партия ставила гегемонию Пруссии, то есть той же прусской монархии, одним из главных пунктов своей программы. Но нужно сказать, что и в этом противоречии она не была последовательна. Она начала с того, что согласилась на единовременную выдачу денег на военные преобразования. Отношение Лассалья к прогрессистской партии было следующее. До тех пор, пока рабочий класс еще спал политической спячкой, а буржуазная оппозиция сумела выставить таких борцов, как Циглер, Валесроде и другие, которые были решительными защитниками всеобщего избирательного права и вообще последовательными сторонниками демократической программы, Лассаль, сохраняя свое выжидательное положение, относился к ней более или менее доброжелательно. Таким образом, он еще в начале 1861 года находил возможным, как пишет Марксу, «стоять заодно с вульгарно-демократическими партиями различных

оттенков», невзирая «на разногласие по многим пунктам их основных воззрений». Однако эта «конституционная» борьба и все ее перипетии явственно доказали Лассалю неспособность либеральной буржуазии решить историческую задачу, выпавшую на ее долю. Хотя во время разгара войны между прогрессистами и правительством Лассаль пытается повернуть прогрессистскую партию на радикальный путь борьбы, многие обстоятельства заставляют думать, что при этом он преследовал политику, сходную с той, которая побудила его три года тому назад писать свою «Итальянскую войну». Не веря более в возможность победы немецкой буржуазии над реакцией и остатками феодального строя, Лассаль тем не менее предлагает ей свою программу действий, требует от прогрессистов радикальной тактики – очевидно с единственной целью дискредитировать их, разоблачить их коренные недостатки и бессилие, чтобы таким образом отделить от них наиболее радикальные элементы и доверчивых рабочих, руководимых ими. Когда же влияние лучших демократических представителей прогрессистской партии внутри нее значительно уменьшилось, ввиду все большего и большего преобладания принципов «манчестерства», и когда обнаружились первые признаки пробуждения пролетариата, Лассаль перешел из выжидательного в наступательное положение.

Первым залпом предстоявшей ожесточенной войны стал известный памфлет против историка литературы Юлиана Шмидта, бывшего в то время главным редактором центрального органа старолиберальной партии «Берлинской всеобщей газеты». Несмотря на то что этот памфлет по внешнему виду носил литературный характер, он тем не менее по духу своему представлял собой политическую полемику. Но это был удар рикошетом. Направляя свои смертоносные стрелы против «короля в литературе», как Лассаль называл Ю. Шмидта, он имел в виду всю либеральную партию и в особенности ее прессу. «Если бы мой Юлиан был одиноким явлением, я бы не прикоснулся к нему даже щипцами!.. Но он не один, и здесь можно сказать, изменяя евангельское выражение: один зван, но много избранных», – пишет Лассаль в предисловии к своей брошюре, называя свою жертву точным мерилем определения степени духовного развития старолиберальной партии. Развенчивает и обнажает литературного «короля» в этом памфлете простой типографский наборщик (сам Лассаль), но в некоторых местах он предоставляет слово и своей жене, роль которой исполняет его приятель Лотар Бухер. Каждая страница этой брошюры демонстрирует обширнейшие знания и блестящее остроумие ее автора; но, нужно

сказать, между «полемическими красотоми» язвительной, тонкой сатиры встречаются нередко совершенно бесцеремонные выходки, удары увесистым камнем на расстоянии двух шагов, пушечные залпы по воробьям. Нетрудно догадаться, как отнеслась к памфлету либеральная печать. Однако по отношению к Шмидту цель была достигнута: «великий муж», как его величали, был все-таки сброшен с пьедестала, на котором он так долго красовался.

Этот памфлет был написан Лассалем вскоре после возвращения его из Италии и появился весной 1862 года. Между тем вышеупомянутый конфликт между прусским правительством и прогрессистской партией разразился, палата депутатов была распущена, по всей стране шла оживленная агитация перед новыми выборами, которые должны были состояться в начале мая 1862 года. Если между Лассалем и либеральной, а также псевдодемократической прессой отношения очень обострились, то в самой прогрессистской партии у него сохранились кое-какие дружеские связи. Поэтому в самый разгар предвыборной агитации Лассаль несколькими либеральными союзами был приглашен произнести речь. Он воспользовался этим случаем, чтобы выступить перед членами либеральной партии против ее же собственных руководителей в палате депутатов. Но в первой речи «О сущности конституции», произнесенной на четырех собраниях либералов, Лассаль из тактических соображений пока еще держался в рамках академического изложения.

По мнению оратора, политическая организация всякой страны представляет собой выражение реального, фактического соотношения сил различных слоев ее населения, то есть *действительной конституции* страны. Будучи сформулирована письменно, эта фактическая комбинация общественных сил дает правовую, *писаную конституцию*. Таким образом, писаная конституция находится в непосредственно-причинной зависимости от действительной, и только с изменением второй изменяется и первая. Изменение же действительной конституции обуславливается эволюцией экономических факторов в жизни народов. Ввиду этого, с изменением реальных общественных сил, следует прежде всего регулировать фактические отношения этих сил, а уж это регулирование само собою обеспечит соответственную перемену писаной конституции. Доказывая это беглым обзором исторического развития общественных сил и соответствующего им развития политических форм, Лассаль переходит к событиям 1848 года и к животрепещущему вопросу дня. «В обществе наступило 18 марта 1848 года! – восклицает он. – Король сам созывает в Берлине Национальное собрание... Что же следовало сделать? Следовало прежде всего создать не

писаную, а *действительную* конституцию, то есть изменить существовавшее в стране реальное соотношение сил». Вместо этого Национальное собрание тратит время на бесконечные словопрения о параграфах писаной конституции. «После этого можно ли удивляться, что в ноябре мартовская революция лишилась своих плодов? Разумеется, нельзя, и реакция была лишь необходимым последствием этого». Предоставляя своим слушателям возможность сделать практические выводы из теоретических положений, изложенных им, Лассаль бичует с едкой иронией прогрессистскую прессу, вопиющую о неприкосновенности январской конституции 1850 года, и еще раз подчеркивает, что «конституционные вопросы прежде всего – вопросы *силы*, а не *права*»... «Служители князей – практические деятели, а не краснобаи; но таких практических деятелей следует пожелать и вам», – этими словами заканчивает Лассаль свою речь.

Что «военный конфликт» сводится в сущности к вопросу о *силе*, этого не могли не сознавать и сами прогрессисты. И именно потому-то они и умалчивали об этом щекотливом моменте, потому-то они и опирались на «конституционное» *право*. Само собою разумеется, что эта речь, с неотразимой логической убедительностью указывавшая на самое слабое место прогрессистской тактики, не могла понравиться вожакам партии, а либеральная пресса, по понятным причинам, совершенно замалчивала ее. Нам неизвестно, какой прием встретила эта речь в собраниях, где она была произнесена, но, появившись впоследствии отдельной брошюрой, она произвела сильное впечатление на немецкую интеллигенцию. Что же касается другого лагеря, то есть реакционных партий и правительства, то эта речь Лассаля пришлась им, разумеется, как нельзя более по вкусу. Не говоря уже о том, что они в ней усматривали зарождавшийся раскол внутри оппозиционной партии, им, чувствовавшим за собою «*силу*», была приятна такая трактовка вопроса. В особенности же торжествовала консервативная партия, главный орган которой – «Крестовая газета» – осыпала Лассаля комплиментами. Предостерегая короля от поползновений либералов на власть, до сих пор принадлежавшую короне, юнкерская партия увещевала его не делать никаких уступок, доказывала, что она – «единственно надежная опора трона». Между тем прусское правительство, провозгласив неприкосновенность прав короны на действительное управление страной, производило реорганизацию армии согласно со своими собственными планами и желаниями, чем, конечно, еще больше возбуждало против себя общественное мнение. И действительно, новые выборы принесли с собой блестящую победу

прогрессистской партии над остальными партиями ландтага. Первое время правительство, казалось, готово было пойти на некоторые компромиссы, но эти колебания продолжались недолго. Правительство вдруг изменило тон, наотрез отказываясь подчиниться требованиям палаты депутатов. На это палата депутатов ответила тем, что отвергла подавляющим большинством требования правительства о внесении расходов на новую организацию армии в бюджет регулярных государственных расходов. В это-то время, в сентябре 1862 года, прусский король, чтобы сломить упорство оппозиционного большинства палаты, назначил главой министерства того, кому суждено было сделаться не только всемогущим хозяином внутри Германии, но и главным дирижером всей европейской политики в продолжение целой четверти столетия. Бисмарк сейчас же пустил в ход те средства, которые так ярко характеризуют будущего «железного» канцлера.

Он делает, прежде всего, попытку оказать давление на палату, но, встретив с ее стороны решительный отпор, откладывает заседания палаты на неопределенный срок, с заявлением, что правительство, невзирая на решение депутатов, найдет средства для покрытия военных расходов. И действительно, оно находило их, и к тому же очень простым путем. Оправдываясь фактической необходимостью сохранения государства и теорией о «пробелах в прусской конституции», правительство продолжало собирать подати и делать расходы по своему собственному усмотрению. Это было в октябре 1862 года. Спустя месяц Лассаль выступил в тех же собраниях либеральных союзов со второй речью о сущности конституции, озаглавленной «Что же теперь?», где он доказывал, что все события оправдали, а «Крестовая газета», военный министр фон Роон и министр-президент фон Бисмарк и открыто засвидетельствовали справедливость воззрений, изложенных им в его первой речи. Теперь же приходится бороться за самый основной пункт парламентского режима: за право народа ведать финансовые дела своей страны. Все убедились, что средство борьбы, выбранное палатой депутатов, то есть отказ в утверждении бюджета, ни к чему не приводит. Единственное логическое следствие этого – отказ в уплате податей; но теперь к этому прибегать не следует, так как эта мера, – вполне действительная в Англии, где все реальные факторы силы находятся на стороне народа, – непригодна в Пруссии, где все средства организованной силы находятся исключительно в руках правительства. Поэтому Лассаль рекомендует депутатам *заявление того, что есть*, видя в этом «могучее политическое средство». Это заявление

заключается в том, что в Пруссии господствует не конституционное правление, а лжеконституционализм. Вследствие этого палата должна постановить: не принимать участия «в сохранении внешнего вида конституционного порядка дальнейшим заседанием в палате и прекратить свои заседания на неопределенное время, а именно до тех пор, пока правительство не представит доказательства, что оно прекратило делать неутвержденные расходы». Тогда правительству «пришлось бы или уступить, или вечные времена управлять без палаты». Оно принуждено было бы выбрать первое, так как Пруссия не могла бы существовать одна в Западной Европе без конституционных форм.

Само собою разумеется, что результат такой политики мог быть – и по всей вероятности был бы – как раз обратный тому, какой ожидал Лассаль, – и за *coup d'éclat*^[5] «сверху» последовал бы такой же – «снизу». Этого не могла не понимать либеральная буржуазия. Что же удивительного в том, что такая перспектива не казалась ей особенно заманчивой? Она не хуже Лассалья понимала, что такой исход был бы для нее палкой о двух концах, из которых один ударил бы по ее же собственной спине. Поэтому прогрессисты отнеслись к предложению Лассалья как к злой насмешке над ними и снова стали осыпать его упреками в том, что он-де проповедует теорию первенства *силы* перед *правом*. Завязалась резкая полемика. В начале ее Лассаль имел еще доступ в два-три либеральных органа, кроме того, в первый момент несколько голосов из прогрессистской фракции высказались за его предложение, но они были заглушены дружным хором огромного большинства депутатов. Но по мере того как полемика разгоралась, вся прогрессистская печать различных оттенков закрыла для него свои столбцы, так что ответ на вышеупомянутое обвинение в том, что он ставит силу выше права, Лассалю пришлось печатать за границей в виде брошюры. В этом «гласном письме», озаглавленном: «Сила и право», он между прочим говорит:

«Если бы я создавал мир, то весьма вероятно... устроил бы его так, чтобы в нем *право предшествовало силе*. Это вполне соответствует моей этической точке зрения и моим желаниям. Но, к сожалению, мне не пришлось создавать мир, и потому я вынужден снять с себя всякую ответственность, отказаться как от похвал, так и от порицания, за его устройство. В моих брошюрах о конституции я имел целью объяснить не то, чему *следовало бы быть*, а то, что в *действительности* есть; эти брошюры представляют собой не *этический трактат*, а историческое исследование...» Вследствие этого он отклоняет от себя «лестное

уверение, будто фон Бисмарк и граф Крассов действуют как его ученики». Наконец, говорит он, «прогрессистская партия не имеет права толковать о праве, потому что допускает очевиднейшее попрание его», ибо «она-то именно и предала *право*, чтобы в передрыге захватить *долю* силы».

Добиться этого ей, однако, не удалось.

Это «гласное письмо» было открытым вызовом к войне, которая никогда уже больше не прекращалась. С этого момента Лассаль делает немецких прогрессистов мишенью, в которую он ожесточенно и беспощадно стреляет до самого конца своей жизни. Разоблачать трусость, узкий эгоизм и невежество либералов-«манчестерцев», прячущихся под мантией свободы и прогресса, снимать с них академическую шапочку и надевать на них шутовской колпак – в этом он видел теперь одну из главных, непосредственных задач своей общественной деятельности.

Вышеизложенное «гласное письмо» было написано, как сам Лассаль замечает здесь же, с целью «обращения на путь истинный многих, сбитых с толку, голов». Выше мы уже сказали, что с этим – и только с этим – намерением он обращался со своими речами к прогрессистам, что не о прогрессистской партии как таковой заботился он при этом, а о тех заблуждающихся, по его мнению, последователях ее, интересы которых сделались самыми насущными интересами собственной жизни и деятельности Лассаля вплоть до его трагической кончины. Лучшим доказательством сказанного может послужить то обстоятельство, что в то же самое время, когда Лассаль обращается к либералам с критикой их тактики в своей первой речи, он выступает в Берлинском ремесленном союзе Ораниенбургского предместья с лекцией «Об особенной связи современного исторического периода с идеей рабочего сословия». Именно этой лекцией Лассаль положил начало той агитации, которая целиком поглотила последние два года его так рано прервавшейся жизни и упрочила его мировую славу.

Обозревая эти последние два года жизни Лассаля, невольно изумляешься всему тому, что он успел создать в такой необыкновенно короткий промежуток времени. Этой деятельности хватило бы иному, пожалуй, на целую жизнь, но можно сказать, что, по интенсивности всего прочувствованного и пережитого, это время и для Лассаля составило добрую половину жизни.

«От марта 1862-го до июня 1864 года, – говорит Брандес, – он написал не менее двадцати сочинений, из которых три или четыре представляют собою как по объему, так и по своему содержанию, целые книги. Большинство из них содержит,

несмотря на их сжатость и общедоступность, такое богатство мыслей, и написаны они с такой научной глубиной, какими очень редко отличаются и объемистые книги. Помимо этого он в то же самое время произносил одну речь за другой, устраивал одну за другой конференции с рабочими депутациями, освободился от целой дюжины политических процессов, вел обширную переписку, основал „Общегерманский рабочий союз“ и управлял всеми его делами. Кажется, что как будто предчувствие близкой смерти увеличило его силы далеко за пределы человеческих возможностей».

Глава IV

Германия в начале XIX столетия. – Общественное настроение после нашествия Наполеона. – Романтизм в литературе. – Отчуждение философии от жизни. – Отголоски шюльской революции. – Молодая Германия. – Реакция. – Разбитие промышленности. – Накануне мартовской революции. – Ее результаты. – Новая эра. – «Манчестерство». – Шульце-Делич, его пропаганда и социальные меры. – Агитация прогрессистов среди рабочих.

Изучая деятельность исторической личности, мы не должны забывать, что она представляет собой прежде всего продукт тех условий, среди которых выросла, жила и действовала. Крупный человек – не кудесник. Более того. Чем личность крупнее, чем глубже, шире ее гений, ее энергия, ее темперамент были захвачены жизненными интересами и заботами, тем рельефнее выступает эта зависимость и тем, стало быть, важнее представлять окружающую деятеля общественную обстановку. Лассаль был несомненно такого рода крупной личностью. Чтобы верно понять и оценить его деятельность, мы должны перенестись воображением в ту эпоху, в которую пришлось выступать на общественной арене нашему «гладиатору». Но для этого нам необходимо сделать краткий исторический обзор того состояния, в каком находилась Германия в первой половине XIX века.

В начале XIX века мы видим Германию на очень низкой ступени экономического и общественного развития. Она представляет собой страну по преимуществу земледельческую. Крупное землевладение обложено чрезвычайно умеренными налогами и пользуется различными привилегиями и льготами. Крестьянство же, стоявшее в обязательных крепостных отношениях к «рыцарским» поместьям, платило за свои ничтожные участки земли очень высокие подати и несло главную тяжесть государственного бюджета. Города также платили громадные налоги в виде акцизных сборов, которыми были обложены все предметы первой необходимости. Промышленная деятельность Германии находилась еще в зачаточном состоянии. Только в Рейнских провинциях, в горнозаводских округах Саксонии и Силезии, в провинции Бранденбургской да в некоторых других центрах существовало фабричное производство. Вообще же во всей стране преобладали мелкие ремесла. Но и эта промышленная деятельность была скована по рукам и ногам цеховыми уставами и старой меркантильной системой. Вся Германия, разбитая на тридцать девять больших,

малых и мелких частей, была испещрена запутанной системой внутренних и внешних таможен, связывавших внутренний обмен товаров и совершенно парализовавших внешнюю торговлю. Точно такой же гнет тяготел и над политической и умственной жизнью страны, – гнет, подавлявший в зародыше всякую инициативу и попытку к самостоятельности.

Такую картину представляла собой Германия в период, предшествовавший первому французскому нашествию. Наполеоновские разгромы доказали как нельзя более наглядно, на каких шатких и прогнивших основах покоилось многосложное немецкое государство, обнаружили полнейшую несостоятельность его полуфеодального строя. Это в огромной степени повлияло на настроения более развитых слоев немецкого общества, естественным последствием чего было обнаружившееся стремление к национальному объединению и политической свободе. Чтобы возбудить самоотвержение и воодушевление в борьбе с внешним врагом, правительство поддерживало это настроение обещаниями различных реформ, до парламентского правления включительно. Но и сами правительства как будто убедились в невозможности остаться при старых отживших порядках и готовились к целому ряду серьезных экономических преобразований. В Пруссии наступил период правления знаменитого канцлера Гарденберга, крупного государственного деятеля, всецело понявшего «дух времени» и обладавшего достаточной энергией, чтобы выступить с реформами, соответствовавшими назревшим потребностям страны.

Однако это пробуждение продолжалось недолго. После падения «корсиканца», после того, как гроза отбушевала, в филистерской Германии опять наступило полное затишье. Обещания правительства были совершенно забыты, а стремление к свободе и объединению Германии сделалось даже объектом жесточайшего преследования. Опять наступила эпоха гнетущей реакции, распространявшейся на все стороны не только общественной, но и частной жизни граждан. Только некоторые из меньших государств – такие как Бавария, Вюртемберг и Баден, – чтобы приобрести силу и устойчивость для обеспечения своей самостоятельности по отношению к сильным державам, ввели у себя представительное правление. В других же государствах Германии, особенно в Пруссии, начали мало-помалу водворяться старые феодальные порядки: отмененные во время французского господства таможи и рогатки были вновь введены; крестьянское население было опять отдано под непосредственную опеку помещиков-дворян; окончательная отмена феодальных повинностей, которая должна была последовать в 1813 году, была

ограничена особым указом, так что отбывание этих повинностей продолжалось в некоторых местах вплоть до 1865 года; свободу промышленности, введенную в штейно-гарденбергский период, старались парализовать возобновленными цеховыми уставами. И несмотря на совершенную отчужденность народа от общественных дел, несмотря на крайнюю неразвитость и полнейший индифферентизм его ко всему, что не касалось его непосредственного домашнего обихода, вся страна была покрыта непроницаемой полицейской сетью, нити которой находились в руках князя Меттерниха, наложившего свою неизгладимую печать на всю эту историческую эпоху.

Немецкая буржуазия того времени еще не созрела не только для завоевания тех условий, которые необходимы были для ее дальнейшего развития, но даже и для ясного осознания их. В то время как во Франции освободившаяся от феодальных уз и быстро развивавшаяся индустрия успела уже произвести на свет и крупное производство, и крупный капитал, а вместе с ними и всевозможные коммунистические утопии; в то время как крупная буржуазия приближалась там уже к первому этапу своего господства – к Июльской монархии Луи-Филиппа, а Сен-Симон и Фурье измышляли рецепты для идеального устройства человечества, – общественно-политическая деятельность пионеров немецкой буржуазии олицетворялась в идеале единой германской империи, в превозношении лютеранской морали, в германомании, в восторгах перед здоровой первобытностью древних тевтонов и херусков да в желании возродить отживший средневековый строй. «Ничто, – говорит Гервинус, – так ясно не выражает ребячества и детской простоты того уровня общественной и государственной жизни названных слоев общества, как эти искусственно-восторженные мечтания об ушедших в вечность формах жизни». Но даже в тех областях, в которых тогдашняя Германия могла бы, казалось, оказаться на высоте, она совершенно отрешилась от живой современности. Литературу заполонили поэтические бредни фантастического и бескровного, как видение, романтизма, проповедовавшего квиетизм и нирвану. Философия, после энергичного и гуманного Фихте, пренебрегала всяким прогрессивным воздействием на непосредственную жизнь, уносясь в заоблачные края мистицизма и седой старины, как это делал Шеллинг, или же парила в лице ее властителя Гегеля в мятежных эмпиреях диалектического идеализма, спускаясь, правда, нередко и на землю, к серой действительности, но лишь для того, чтобы доказать необходимость и разумность этой «действительности». Вся Германия представляла собой картину общественного застоя,

нравственной усталости и малодушия. «Из этой страны, – писал Берне в 1825 году, – надо бежать, как бегут от чумы, потому что вам предоставляется на выбор только одно – быть гонимым или гонителем, овцой или волком...» Конечно, были и иные люди, активные натуры, жаждавшие действовать и стремившиеся изменить это печальное положение; но эта оппозиция, рекрутировавшаяся главным образом из образованной молодежи, учителей и университетских профессоров, вследствие жестоких преследований венско-берлинского правительства была мала и слаба и не могла производить заметного влияния на умственное и политическое движение страны.

Но вот эту атмосферу оцепенения и индифферентизма нарушают отголоски июльских событий во Франции и последовавшего за ним бельгийского движения в 1830 году. Вздурораженный новым ураганом, немецкий бюргер начал протирать заспанные глаза и озираться вокруг. Вместе с ним как будто проснулся и новый дух в стране. Хотя в двух главных государствах немецкого союза – Пруссии и Австрии – все осталось по-прежнему, но в Саксонии, Кургессене, Ганновере и некоторых других мелких государствах народные волнения принесли нечто вроде конституционного правления. Возникла довольно значительная либеральная и демократическая пресса, преимущественно в южной Германии. Этот крутой поворот в настроении общества отразился и в философии, и в теологии, и особенно в литературе, где доминировали Берне и Гейне, где раздавалась бодрая, резкая критика адептов «молодой Германии», привлекавшей на свою сторону все, что было свежего, энергичного и мыслящего в более развитых слоях нации. Но и этому празднику общественного воскресения не суждено было быть продолжительным. Оправившись после внезапного переполоха и временного замешательства, реакция вновь подняла голову и с новой силой принялась истреблять беспокойный дух, овладевший страной. Политические союзы и собрания были запрещены, университеты отданы под надзор полиции, и повсюду была вновь введена строгая цензура, которая в течение каких-нибудь десяти месяцев извела почти всю оппозиционную прессу. В список изъятых книг попали даже поэтические произведения «молодой Германии». Тюрьмы и казематы были переполнены всевозможными протестантами и просто подозрительными для полиции людьми. Таким образом, в общественной жизни Германии прилив сменялся быстрым отливом, за периодом оживления наступала вновь эпоха реакции. Так неизбежно должно было продолжаться до тех пор, пока крупные изменения в экономической структуре страны не сообщили приобретениям

общественного самосознания надлежащей прочности и необратимости.

Между тем экономическая жизнь страны шла своим путем, шла вперед неуклонно, хотя, конечно, далеко не такими быстрыми шагами, как в Англии или во Франции. Капиталистическое производство начало и здесь акклиматизироваться и пробивать шлюзы, преграждавшие ему дорогу. Так как оно для своего развития предполагает свободную конкуренцию, достаточный приток свободных рабочих рук, крупные капиталы и удобные средства обмена, то под давлением этого могучего фактора раз и навсегда были уничтожены все внутренние таможи и в 1834 году заменены «Немецким таможенным союзом»; отменены, за немногими ограничениями, крепостное право и цеховой устав; уничтожена паспортная система; под влиянием промышленных потребностей возникали одно за другим торговые товарищества и акционерные компании, а с 1835 года началась постройка железных дорог, соединивших между собой главнейшие города и промышленные центры. Первой страной Немецкого союза, взявшейся за постройку железных дорог, была Австрия. Меттерних, как выражается Блос, «в самом деле думал, что железная дорога менее опасна для его системы ненарушимого покоя (*des Stillstandes*), чем фразы о свободе любого из либеральных писателей. В то время как их заключали в тюрьму, он позволял локомотивам свободно мчаться по Австрии, не подозревая, что каждый гвоздь на рельсах был в то же самое время гвоздем для крышки гроба, изготовлявшегося для его системы». И в самом деле, железные дороги, всё, что их вызывает к жизни, и всё, что они в свою очередь создают, – всё это знаменует появление на исторической арене новых сил, которые порождают новые отношения, разлагающие старый, патриархальный быт и все покоящиеся на нем системы.

Рука об руку со всеми этими знаменательными изменениями во внешних условиях общественной жизни происходит перемена и в настроении различных слоев немецкого народа, в его политических и экономических понятиях. Ученые берут на себя задачу быть выразителями интересов буржуазии. Фридрих Лист развивает экономические теории, требующие защиты немецких капиталистов от иноземной конкуренции. Раздаются, конечно, и голоса, которые под флагом прогресса отстаивают давно отжившие хозяйственные устои. В политике растет увлечение представительными учреждениями. Философия в лице «левых» гегельянцев покидает заоблачные высоты равнодушия и компромисса с отживающей действительностью. Одним словом, в буржуазии начинает назревать осознание своего политического

значения. Но буржуазия без пролетариата немислима. Наличие первой предполагает существование второго. Пролетариат начинает волноваться, тщетно ища выхода из тисков административных и иных ограничений. Когда в 1844 году заволновались силезские ткачи, терзаемые голодом и безысходной нищетой, они жестоко за это поплатились. Неудивительно после того, что и пролетариат стал вполне сочувствовать буржуазии в ее стремлениях к изменению феодального режима. Не были довольны и городские ремесленники. Тревожно смотрели они на рост крупного капитала, борьба с которым была им не по плечу, а между тем невозможность свободной инициативы связывала их по рукам и ногам, не давая возможности оказывать какое-либо сопротивление одолевавшей капиталистической конкуренции. Враждебно относясь к буржуазии, они тем не менее являлись ее союзником в политических вопросах. К этим трем общественным классам присоединялось и крестьянство, которое, как мы уже упоминали, не было еще окончательно избавлено от крепостной зависимости и своеволия помещиков.

Таково было положение страны накануне 1848 года. Торговый кризис, охвативший в 1847 году почти всю Европу, и недород картофеля в Германии окончательно переполнили чашу народных страданий. Пришлось пойти на уступки. Поднявшаяся в Париже февральская буря разразилась грозным ураганом по всей Германии. Народ торжествовал. Буржуазия была неистощима в прославлении своего собственного мужества. Но еще не успела она отдать себе отчет в одержанной победе, как уже завопила: «Горе мне, я победила!» Буржуазия испугалась своей собственной тени – пролетариата. Пролетариат должен был, по мнению буржуазии, лишь своими руками загребать жар. А между тем пролетариат запел на мотив из такой «оперы», которая пришлась отнюдь не по душе «свободолюбивым» капиталистам. Этим и объяснялась та половинчатость и нерешительность в образе действий буржуазии, о которой мы уже говорили раньше. Пролетариат же, в свою очередь, еще не был так силен, ни количественно, ни качественно, чтобы сделаться хозяином положения, и «пассивное сопротивление» немецкой буржуазии окончилось победой немецких правительств.

Эта победа правительств над движением 1847—1849 годов не могла, однако, выразиться в полном восстановлении старого политического порядка. Безусловное самовластие пало безвозвратно. Объединение всех немецких земель в единое отечество с центральным парламентом, избранным на основании общего прямого избирательного права, с гарантиями полной

свободы слова, печати, собраний и союзов, – одним словом, то, к чему стремилась первоначально вся буржуазия и до конца лишь радикальная часть ее, – осталось, конечно, неосуществленным. Но все-таки отдельные правительства вынуждены были завести у себя земские палаты, впрочем, с избирательным цензом, в силу которого в делах управления могла участвовать лишь незначительная и состоятельная часть населения. Зато главные усилия реакции были направлены на то, чтобы стереть всякий след рабочего движения, заявившего о себе с первых же дней переворота 1848 года. Союзным постановлением 1854 года была не только ограничена свобода слова и печати, но и совершенно запрещены рабочие союзы политического характера.

Бессилие реакции окончательно повернуть колесо назад обуславливалось фактическим развитием социальных условий, неудержимо толкавших вперед общественную жизнь. Реакция могла торжествовать, подавив кое-какие политические результаты минувшего народного движения, но она не в состоянии была устранить коренную причину всякого прогресса – развитие экономических сил и сопряженных с ними явлений. В самом деле, пятидесятые годы были периодом весьма ощутимого процветания немецкого капитализма. Вследствие нейтралитета Пруссии во время Крымской войны германские фабриканты получили преимущественное право сбыта своих изделий в России. Благоприятные для них торговые договоры с другими государствами довершали остальное. Другими словами: крупные капиталисты богатели, а мелкая буржуазия разорялась с неимоверной быстротой, пополняя ряды пролетариата. Но как прилив сменяется отливом, так в капиталистическом хозяйстве временный подъем сменяется кризисом. Такой кризис возник и в 1857 году. В народе и в обществе опять появились тревожные брожения. На этот раз прусское правительство оказалось предусмотрительным. Регентство Вильгельма, впоследствии прусского короля и первого императора Германии, принесло с собою в 1858 году, как мы уже знаем, новые либеральные веяния. По причинам, о которых мы говорили в прошлой главе, Вильгельм делает уступки общественному мнению, у немецкой буржуазии вновь пробуждается аппетит к политическому главенству. Но воспоминания о неблагонравном поведении пролетариата десять лет тому назад отравляют ее «чистые помыслы». Широкого вовлечения народа в политическое движение она боялась пуще правительственной реакции. Но буржуазия без народа – все равно что штаб без армии. Надо было придумать средство залучить на свою сторону эту армию, но так, чтобы она послушно шла в узде у буржуазии.

Такое средство нашлось. Нашла его, конечно, буржуазная экономическая «наука». По ее мнению, между капиталом и трудом существует гармоническая связь. Чем богаче капиталист, тем жирнее рабочий. Ergo^[6], экономическая гармония требует политической солидарности. К чему же в таком случае, рассуждала она, рабочему заниматься политикой? Об этом позаботится уже сама буржуазия, для чего вовсе не нужно общеизбирательного права. *Избирательный ценз* вполне достаточен. Рабочие должны относиться с полным доверием к своим «естественным руководителям» и грудью стоять за капиталистов в их борьбе с консервативно-реакционной партией. Так как немецкая буржуазия в то время окрепла уже настолько, что не нуждалась больше в покровительственных мероприятиях государства, то она великодушно высказывается за манчестерскую теорию «государственного невмешательства». Раз между капиталом и трудом существует пропорциональная связь, твердила она, то очевидно, что вмешательство государства и в эту область совершенно излишне. Такие взгляды начинают почти безраздельно царить во всей буржуазной прессе.

«Но неужели рабочие уверовали в эту науку?» – полюбопытствует читатель. В этом сомневалась и сама буржуазия. Но все ее сомнения рассеял знаменитый «король в социальной области» Шульце из Делича. Философским камнем этого «короля» была так называемая «самопомощь». В качестве бывшего мирового судьи Шульце стоял, конечно, за гармонию между трудом и капиталом, тем не менее он полагал, что и самому плошать не следует. Как человек просвещенный, он с благоговением относился к манчестерской перчатке, но не прочь был похвалить и рукавицу, сшитую домашними средствами. Только бы эта рукавица не была государственной. Шульце серьезно предостерегал рабочих от вредного заблуждения, что будто бы государство есть самое высшее и надежное орудие самопомощи. Рабочие не должны, по его мнению, требовать от государства «унизительной» для них поддержки. Они сами должны устраивать потребительские, кредитные, сырьевые и даже производительные товарищества. Они сами должны сделаться капиталистами, а средством к этому должно служить *сбережение*. Такова была теория, которая должна была убедить пролетариат не только в благородстве, но и в уме буржуазии.

Впрочем, нужно заметить, что меры, предложенные Шульце, хотя несколько и не годились для немецких рабочих, которые едва зарабатывали на насущные потребности и у которых поэтому не могло быть и речи о «сбережениях», обещали, однако, временное облегчение мелким предпринимателям,

ремесленникам и сельским хозяевам. Отсюда громкая и отчасти заслуженная слава «короля в социальной области». Для рабочих же годились только рекомендованные Шульце же «Союзы самообразования» да еще до известной степени и потребительские товарищества (Konsumvereine). Но под руководством прогрессистов, как называли себя прежние демократы, значение и этих «Союзов самообразования» состояло лишь в том, чтобы распространять среди рабочих экономические и политические теории немецкой буржуазии. Рабочие не выносили оттуда ничего, кроме жалких отрывочных сведений. По словам консервативного писателя Рудольфа Мейера, рабочим в этих союзах преподносили «сегодня – чтение об Уланде, завтра – о японском микадо, затем о спектральном анализе и т. д.». Как бы то ни было, пропаганда Шульце-Делича имела успех, и при помощи его усыпительных порошков буржуазии удалось обеспечить себе на некоторое время политическое сочувствие не только мелкобуржуазного, но и даже рабочего класса. А это сочувствие было ей необходимо в ее конфликте с правительством, достигшем, как нам уже известно, в 1862 году своего апогея. Вследствие этого конфликта между буржуазией и юнкерами, между движимым и недвижимым капиталом прогрессисты вели громкую агитацию не только в своей собственной среде, но и в кругу рабочих, особенно берлинских, игравших для них роль демонстративного пугала по отношению к реакции. И нужно сказать, что в первое время эта агитация среди рабочих сопровождалась несомненным успехом.

Однако в конце концов прогрессисты все же жестоко просчитались. Они сыграли по отношению к рабочим роль той силы, которая сама же создает обратное тому, к чему она стремится. Вместо того, чтобы быть прогрессистами *sans phrase*^[7], рабочие сделались со временем их противниками. На вспаханную прогрессистами почву явился совершенно неожиданный сеятель. Этим сеятелем был Ф. Лассаль.

Глава V

«Об особенной связи современного исторического периода с идеей рабочего сословия».– На скамье подсудимых.– «Наука и работники».– Поведение Лассалья на суде.– Обращение Лейпцигского Центрального комитета к Лассалю.– «Гласный ответ». – Лейпцигская речь.– Победа во Франкфурте и Майнце.– Основание «Общегерманского рабочего союза».– Каникулы.– «Празднества, пресса и Франкфуртское депутатское собрание».– Возвращение в Берлин.– Последняя зима в Берлине.– «Бастия Шульце».– Сношения с Бисмарком.– Новые судебные процессы.– «Военные смотры» и триумфальные поездки.– Последняя агитационная речь.– Поездка в Швейцарию.

Мы знаем, что одновременно с атакой Лассалья на слабохарактерную политику прогрессистов 12 апреля 1862 года он выступил перед берлинскими рабочими со своей знаменитой речью «Об особенной связи современного исторического периода с идеей рабочего сословия». Речь эта или, правильнее, лекция является началом освобождения германского рабочего класса от опеки буржуазии и превращения его из «прихвостня» прогрессистов в самостоятельную политическую партию.

Что же такое сказал Лассаль в этой лекции?

Как явствует уже из самого заглавия лекции, Лассаль поставил себе целью объяснить рабочим общественные задачи их сословия в переживаемый период истории. С этой целью он делает обзор крупных исторических эпох, начиная со средних веков. Каждый исторический период отличается, по его мнению, господством одного какого-либо принципа. Сначала господствует крупное землевладение, налагающее в средние века печать на весь общественный быт. Его сменяет владычество крупного капитала, за которым в свою очередь должно последовать господство нового исторического принципа – принципа «четвертого сословия». Переход от господства одного принципа к другому знаменуется, по словам Лассалья, глубоким общественным кризисом, который не только не может быть вызван отдельными личностями, но просто немыслим, если он не содержит в себе новой идеи, фактически уже воплотившейся или достаточно подготовленной в реальных условиях жизни. Французская революция конца XVIII века была, по его мнению, непобедима, ибо она была результатом промышленного прогресса и капиталистического производства, нуждавшегося для своего дальнейшего существования и развития в новых правовых

формах. Французская революция, положившая конец господству феодальной аристократии, знаменует собой появление нового исторического принципа – принципа буржуазии. Буржуазия, которая, по словам Сизса, прежде была «ничем», – после революции стала «всем» лишь потому, что фактически она уже и прежде занимала первенствующее место. Первоначально буржуазия искренно полагала, что провозглашенные ею «права человека и гражданина» в равной степени учитывают интересы целого народа. Но очень скоро оказалось, что под «человеком» следует разуметь капиталиста. Буржуазия обеспечивает свое политическое верховенство имущественным цензом, исключаяющим участие неимущих классов в делах правления. Пользуясь своим господством, буржуазия, подобно феодальному дворянству, сваливает посредством косвенных налогов податное бремя на трудящееся население. Но вот с февральским переворотом 1848 года на историческую сцену выступает «четвертое сословие», интересы которого должны сделаться господствующим принципом нового исторического периода. Но так как у «четвертого сословия» нет, по мнению Лассалья, ничего такого, из чего можно было бы создать новую сословную привилегию, то принципом этим неизбежно является отрицание сословного эгоизма, отрицание всяких привилегий, всякого подразделения общества на враждебные друг другу классы. Ввиду этого провозглашение идеи «четвертого сословия» господствующим принципом общества является, по его мнению, возгласом *примирения*; возгласом, обращенным ко всему обществу; возгласом, сглаживающим все противоречия между общественными группами; возгласом *единения*, на который должны отозваться все противники привилегий и угнетения ими народа; возгласом *любви*, который, однажды раздавшись из сердца народа, навеки останется истинным лозунгом его и по смыслу своему пребудет *возгласом любви*. Средством осуществления этого принципа служит, по мнению Лассалья, общее и прямое избирательное право. Оно, правда, не является, говорит он, волшебным жезлом, предохраняющим от минутных ошибок, но все-таки оно – копьё, само же исцеляющее раны, которые наносит. С нравственной точки зрения идея рабочего сословия не грозит гибелью культуре и просвещению. Напротив. Она является «величайшим прогрессом и триумфом нравственности», ибо дело рабочих есть, по его мнению, «дело всего человечества». У рабочего класса и взгляд на «цель государства иной, чем у буржуазии». Буржуазия требует невмешательства государства в отношения граждан между собой. Оно должно, по ее мнению, лишь следить за тем, чтобы всякий

беспрепятственно пользовался своими силами, как знает и умеет. Но так как не все одинаково сильны и богаты, одинаково образованы и ловки, то ограничение государства ролью «будочника» (Nachtwächter) ведет к дурным последствиям. Государство, по мнению Лассалья, есть «единство личностей в одном нравственном целом» и цель его – развивать и совершенствовать человека. Этой «истинной и возвышенной цели государство, по словам Лассалья, служило более или менее во все времена», но при «господстве идеи рабочего сословия государство стало бы служить ей с полным сознанием и совершенной ясностью». Свою лекцию Лассаль заканчивает следующим обращением к своим слушателям:

«Высокая всемирно-историческая честь такого назначения должна преисполнить собой все ваши помыслы. Пороки угнетенных, праздные развлечения людей немых, даже невинное легкомыслие ничтожных – все это теперь недостойно вас. Вы – скала, на которой созиждется церковь настоящего... С высоких вершин науки можно раньше увидеть зарю рассвета, чем среди обыденной сумятицы. Смотрели ли вы когда-нибудь, господа, с высокой горы на восход солнца? Багряная полоса кровавым цветом окрашивает край небосклона, возвещая новый день; туманы и облака поднимаются, сгущаются и бросаются навстречу заре, на мгновение скрывая ее лучи; но нет той силы на земле, которая могла бы остановить медленное и величественное восхождение солнца, и час спустя оно стоит высоко в небе, на виду у всех, ярко сияя и согревая. Что – час в естественном зрелище суточных небесных перемен, то – одно или два десятилетия в неизмеримо величественнейшем зрелище всемирно-исторического восхода солнца».

Таково содержание лекции Лассалья. Как видит читатель, она представляет собой положительное развитие его общественных взглядов. Это уже не полемическая вылазка против прогрессистов, не обыкновенная политическая речь на злобу дня, а настоящая «Программа рабочих» – под таким названием она впоследствии и появилась в печати. Лекция эта носит характер строго научного рассуждения. Лишь изредка прорывается пронзительный возглас страстного агитатора. Блестящая в литературном и ораторском отношении, она и по своим внутренним достоинствам смело может быть названа одной из лучших речей Лассалья, если не самой лучшей из них. Этим мы не хотим, конечно, сказать, что она совершенно свободна от недостатков. Уже в его речи «О сущности конституции» мы видим нашего гегельянца-идеолога в качестве здравого реального политика. В разбираемой же лекции он делает еще один, и

притом огромный, шаг вперед. Вполне справедливо рассматривают эту лекцию как превосходное изложение начал, положенных в основу исторической главы известного «Манифеста». И действительно, в выяснении исторической роли «четвертого сословия» Лассаль как бы невольно покидает свою идеологическую точку зрения и становится на почву экономического материализма. Становится, правда, лишь одной ногой. Его юридически-идеологический взгляд на вещи очень часто проглядывает сквозь оболочку экономико-материалистического понимания исторических и общественных явлений. Благодаря этому Лассаль и здесь приходит к выводам, не вполне соответствующим действительности. Так, например, понятие о том, что такое «буржуа», он выводит не из экономического, то есть фактического влияния, порождаемого капиталом как орудием подчинения себе тех, у кого капитала нет, а из *правовых* и *государственных* преимуществ, которыми капиталист пользуется или которых он домогается в силу своего богатства. Он причисляет капиталистов к буржуазии лишь в том случае, если они претендуют на государственное или правовое положение прежних феодалов. Выходит, стало быть, что там, где капиталист *не* пользуется почему-либо *правовыми* преимуществами в сравнении с пролетарием, он уже не «буржуа», не член буржуазии как класса. Между тем этот вопрос вовсе не так «безразличен», как это может показаться на первый взгляд. Такая точка зрения затемняет в огромной степени коренное различие между отдельными социальными группами и коренную причину этого различия. Тот же ошибочный взгляд руководит Лассалем, когда он говорит, что буржуазия основывает свою власть на *присущем ей* принципе имущественного ценза, благодаря которому держится система косвенных налогов. А мы знаем, что буржуазия чувствует себя недурно и при общем избирательном праве, нисколько не исключаяющем систему косвенных налогов. Достаточно только взглянуть на такие буржуазные страны, как Франция или Соединенные Штаты, где система косвенных налогов получила наибольшее применение и где прямое и общее избирательное право существует всего дольше. Одним словом, каковы бы ни были избирательное право и система налогов, тайна капитала – способность приносить своим счастливым обладателям прибавочную стоимость – остается верховным источником господства буржуазии. Само собой разумеется, однако, что та или иная система избирательного права и налогов является вещью, далеко не безразличной как для буржуазного, так и для неимущего класса.

Мы сочли нужным остановиться здесь на указанных

недостатках в рассуждениях Лассалья главным образом потому, что они проходят красной нитью через все остальные его речи. Покончив с ними раз и навсегда, у нас не будет больше надобности возвращаться к ним.

Несмотря на свой серьезный и почти академический характер, лекция Лассалья вызвала немалый переполох среди буржуазии. Но так как Лассаль к тому времени не порвал еще окончательно с прогрессистами, то их печать ограничивалась лишь нападками на частности, упрекая Лассалья в натяжках и преувеличениях. Щекотливый же вопрос о господстве «четвертого сословия» она дипломатически обходила молчанием. Иначе отнесся к делу берлинский прокурор. Он возбудил против Лассалья обвинение в том, что своей лекцией он подверг опасности общественное спокойствие. С этого момента для Лассалья открывается новая трибуна для проповеди своих убеждений – скамья подсудимых. Судебные преследования посыпались на него, как из рога изобилия. Но и эти преследования, и новая удесятенная борьба с противниками оказались по отношению к Лассалю тем молотом, который, по выражению поэта, дробя стекло, кует булат.

16 января 1863 года в берлинском уголовном суде разбиралось дело Лассалья по упомянутому выше обвинению. Появляясь в суде, Лассаль никогда не помещался за решеткой, на обычной скамье подсудимых. Он вел себя не как подсудимый, а точно профессор в университетской аудитории. Он приносил с собою груды книг и газет, из которых черпал аргументы для своей защиты. После маленького препирательства с судом Лассаль обыкновенно усаживался возле своего защитника, на столе которого он располагал свою бумажную армию. Речи защитников ограничивались обыкновенно заявлениями, что всякое добавление с их стороны лишь ослабило бы то впечатление, которое произвела речь «господина обвиняемого», как величали Лассалья не только защитники, но и суд вместе с прокурором. Обыкновенно же защитники Лассалья играли роль миротворцев между ним и судом в минуты тех частых, исполненных крайнего драматизма, инцидентов, какие вызывало поведение Лассалья на суде, его манера говорить резко, прямолинейно, без оглядки на настроение судей и прокурора. Нередко случалось, что суд по требованию уязвленного обвинителя лишал Лассалья слова. Нисколько этим не смущаясь, Лассаль продолжает говорить. Прокурор и президент суда кипятятся и кричат Лассалю, чтобы он замолчал. Но тот и в ус себе не дует. Он засыпает суд целым ворохом параграфов, в силу которых суд обязан-де дать ему «экстраординарное» слово, чтобы возразить против законности

только что принятого судом решения. Оказывается, что Лассаль прав. Он действительно имеет законное право возражать «au fond», то есть специально против этого решения. Лассаль убедительно доказывает суду, что тот в данном случае решительно не имел никакого права лишать его слова, что вопреки закону тот усмотрел оскорбление прокурора там, где его вовсе не было. Кончается тем, что президент суда после совещания с судьями констатирует, что Лассаль в самом деле прав, и предоставляет ему слово для дальнейшей защиты... Как раз такого рода инцидент случился на первом, самом бурном судебном разбирательстве, в котором Лассаль произнес свою знаменитую речь «Наука и работники».

В своей защите против обвинения в том, что его лекция «Об особенной связи...» – не научное произведение, а «демагогическая махинация», Лассаль в блестящих выражениях и с помощью убедительных аргументов доказывает суду несправедливость такого обвинения. Ссылаясь на двадцатую статью прусской конституции, которая гласит: «Наука и ее учение свободны», он доказывает, что его лекция – безусловно научное произведение. На основании необыкновенно богатого и яркого исторического материала он показывает, что наука всегда пользовалась свободой. Свою жизнь, говорит Лассаль, он посвятил науке. Его ученость – лучшая гарантия против разнузданной демагогии. Если благородные и просвещенные члены нации покидают народ, то вожаками последнего становятся самые грубые люди. «В том-то и состоит величие нашего века, – восклицает Лассаль, – что ему суждено привести науку к народу. Только два элемента европейской жизни сохранили свое величие, а также свежесть и способность к развитию среди губительной чахотки царящего своекорыстия, – это наука и народ, наука и работники». Люди науки, которые хотят убрать преграду, отделяющую буржуазию от народа, заслуживают места в Пританее, а не на скамье подсудимых. Ядовитыми стрелами забрасывает Лассаль прокурора, сына знаменитого философа Шеллинга, опровергая пункты его обвинения цитатами из сочинений его же отца. Свою защиту, посвященную отстаиванию положений его лекции, Лассаль заканчивает следующими словами: «На человека, посвятившего, как я вам сказал, свою жизнь лозунгу „Наука и работники!“, приговор, попавшийся ему на пути, не произведет иного впечатления, чем лопнувшая реторта на погруженного в научные опыты химика. Он слегка поморщится, встретив сопротивление материи, и, как скоро препятствие устранится, будет спокойно продолжать свои исследования и труды. Но ради нации и ее чести, ради науки и ее достоинства, ради страны и ее

законной свободы, ради памяти в истории ваших собственных имен, господа президент и советники, я говорю вам: оправдайте меня!..» Однако суд не оправдал Лассалья, а приговорил к четырем месяцам тюремного заключения. Прокурор требовал девять месяцев. Но вторая инстанция, к которой апеллировали и прокурор и Лассаль, заменила этот приговор денежным штрафом в сто рублей.

Судебные речи Лассалья – это прежде всего агитационные речи. В его глазах судьи – не более чем официальные оппоненты публичного собрания, выходящего далеко за стены зала заседания. Своей защите он сразу дает такую направленность, что личность его как бы совершенно отходит на второй план. Наперсники Фемиды и те по его мановению превращаются в какой-то ученый ареопаг, призванный не карать и миловать, а судить о двух мировоззрениях. Когда речь идет о прусском подданном Фердинанде Лассале, обвиняющемся в нарушении таких-то параграфов уложения о наказаниях, внезапно оказывается, что на скамье подсудимых сидит вовсе не Лассаль, а союз «Науки и работников». В другой раз мы слышим в суде академический трактат о косвенных налогах. Лишь изредка Лассаль напоминает нам о том, что мы находимся не на заседании ученого общества, а в зале прусского суда. Но как напоминает! Не в качестве обвиняемого, а в качестве обвинителя, – точно он поменялся ролями с прокурором. Когда Лассаль защищается, – он нападает. Его стратегия – это атака. Он высылает фалангу за фалангой свою рать силлогизмов, из которых каждый окружен, по его словам, «тройной броней науки и истины». Победить для Лассалья – значит убедить. Он избегает всего, что может омрачить рассудочную силу его судей. Он никогда не потчует их медоточивым краснобайством, не апеллирует к их чувствительности. Напротив. Лассаль как бы нарочно делает все от него зависящее, чтобы раздражать их. Но, вынужденные следить за ходом его мыслей, судьи чувствуют себя, точно туристы в связке со своим смелым провожатым, твердой поступью взбирающимся вместе с ними от одного аргумента к другому, словно с одной скалы на другую, пока глазам их не откроется целый Монблан силлогизмов, озаренных светиллом его огненного красноречия. Неотразимое чувство умиления овладевает судьями. Они почти тронуты. Они убеждены. Они побеждены. Конечно, это не мешает им в некоторых случаях выносить наказание Лассалю. Но делают они это лишь *ad majorem justitiae gloriam*^[8]...

Хотя речи Лассалья в общих чертах подвергались им всегда предварительной отделке, они тем не менее производили на

слушателей впечатление импровизированного творчества. Лассаль обладал замечательным даром вставлять в свои речи возражения по поводу неожиданных препирательств на суде или в публичных собраниях так искусно, что никому не приходило в голову, что оратор приготовил свою речь дома. Несмотря, однако, на свое необыкновенное красноречие, Лассаль не всегда отличается тонким художественным вкусом. Его метафоры нередко поражают риторической напыщенностью и ходульностью. Он любит «крепко наруганные» выражения. Из степеней сравнения – превосходная пользуется у него наибольшим почетом. Свои агитационные поездки Лассаль называл «военным смотром» своих «батальонов». Своим противникам он наносит не просто удары, а *Keulenschläge* – удары «палицей». О прокуроре, сомневавшемся в научном характере инкриминируемой лекции, он говорит: «Что же за *чудовище* учености этот прокурор, если всего этого недостаточно, чтобы придать в его глазах сочинению достоинство научности!..» Закон заработной платы он называет, как мы увидим ниже, «железным законом». Лассаль то и дело говорит о «железной руке», о «железных приемах». Победив однажды прогрессистов на их собственном собрании, он пишет: «Я разбил прогрессистов в течение двухдневного сражения при помощи той армии, которую они повели против меня». Таков Лассаль – оратор и стилист. Недюжинный человек, он нуждался в сильном языке для того, чтобы передать все «вибрации», весь внутренний трепет вдохновлявшей его страсти.

Читателю уже известно, что период так называемого «военного конфликта» был временем лихорадочной агитации прогрессистов в рабочей среде. Но в силу инерции рабочие пошли дальше, чем того хотелось, по-видимому, прогрессистам. Обстоятельство это неизбежно вело рабочих к постепенному разочарованию в панацеях, рекомендованных Шульце-Деличем. Да и вообще обращение прогрессистов с рабочими наводило последних на серьезные размышления о «гармонии между трудом и капиталом». Когда рабочие захотели стать активными членами так называемого прогрессистского «Национал-Ферейна», задавшегося целью объединить Германию под главенством Пруссии, прогрессисты отказали им в этом. Они говорили, что «рабочие – прирожденные *почетные* члены» Ферейна, но пользоваться правом голоса в качестве активных членов они не могут. «Король в социальной области» отечески советовал рабочим «сберечь» членские взносы, дабы они со временем смогли стать «капиталистами». Понятно, что такие ответы и такая опека со стороны «естественных руководителей» не удовлетворяли более развитых рабочих. Они стали подумывать о

созыве рабочего конгресса для обсуждения своих дел. Как раз в 1862 году в Лондоне происходила Всемирная промышленная выставка, которую посетили, между прочим, по инициативе прогрессистов же, и делегации от германских рабочих. По возвращении на родину эти делегаты особенно настоятельно дебатировали вопрос о конгрессе.

Не нужно упускать из виду еще и то обстоятельство, что среди массы рабочих, шедших на политических помочах прогрессистов, были и такие, которые хранили старые традиции рабочих обществ, сметенных реакцией в 1854 году. Идеи, одушевлявшие эти общества, не были новостью в Германии уже со времен портного Вейтлинга, действовавшего в сороковые годы XIX века. Кроме того, еще до «Программы рабочих» Лассалья в печати давно уже появился целый ряд весьма важных сочинений Маркса и Энгельса, которые были, как известно, не только учеными, но и политиками пролетариата. У них были, конечно, друзья и соратники в Германии, особенно на Рейне. К тому же между делегатами, приехавшими посмотреть Лондонскую выставку, многие встречались с кружком Маркса. Такого рода члены прогрессистских «Союзов самообразования» не замедлили оказаться настоящим «даром данайцев», и при первом появлении Лассалья на политической арене они стали чутко к нему прислушиваться. Когда зашла речь о созыве конгресса, то Центральный комитет, выбранный для этой цели лейпцигскими рабочими, обратился в феврале 1863 года к Лассалю с письмом следующего содержания:

«Милостивый государь! Ваша брошюра „Об особенной связи современного исторического периода с идеей рабочего сословия“ встречена была здешними рабочими с величайшим сочувствием, и Центральный комитет высказался в Вашем духе в „Рабочей газете“, издававшейся либеральным „Национал-Ферейном“. В то же время с различных сторон высказываются очень серьезные сомнения в том, что рекомендуемые Шульце-Деличем товарищества могут оказать действительную помощь ничего не имеющей рабочей массе и надлежащим образом изменить ее положение в государстве. В 6-м номере „Рабочей газеты“ Центральный комитет высказал свой взгляд на этот предмет. Он убежден, что при современных условиях названные товарищества не могут служить для этого действительным средством. Но так как идеи Шульце-Делича повсюду проповедуются как руководящие идеи рабочего сословия и так как помимо указанных Шульце-Деличем могут быть еще другие пути для достижения нашей цели: улучшение положения рабочих в политическом, материальном и умственном отношениях, то

Центральный комитет на своем заседании 10 февраля текущего года единогласно постановил: просить Вас высказать, в той или другой форме, Ваш взгляд на рабочее движение, на средства, которыми оно должно пользоваться, а в особенности на значение товариществ для беднейшего класса народа. Мы высоко оцениваем взгляды, высказанные Вами в вышеназванной брошюре, и сумеем оценить Ваши дальнейшие сообщения...»

Само собою разумеется, что, получив такое письмо, Лассаль не заставил себя просить дважды. К тому времени он уже окончательно порвал с прогрессистами и мог поэтому отвечать на поставленные ему вопросы без всякой оглядки на то, понравится ли им это или нет. уже 1 марта 1863 года появился в печати «Гласный ответ» Лассалья. Этот «Ответ» послужил сигналом к повсеместной агитации в его духе.

В своем «Гласном ответе» Лассаль прежде всего советует рабочим порвать с прогрессистами и сделаться самостоятельной политической партией. Прогрессисты показали свою политическую бесхарактерность и отсталость, видя идеал Германии в объединении ее под прусской каской. В экономическом отношении он признает шульцевские товарищества совершенно недостаточными. Они могут поправить положение отдельных единиц, но не целого класса. Частная самопомощь и сбережение никаких осязательных результатов дать не могут. Что рабочий сбережет как потребитель, то он потеряет как производитель, так как его заработная плата непременно понизится. От 89 до 96 процентов прусского населения страдает, по словам Лассалья, под гнетом *железного и жестокого экономического закона*, в силу которого, под влиянием предложения и спроса на труд, средняя заработная плата всегда ограничивается «пределами, по существующим у данного народа привычкам, безусловно необходимыми для существования и размножения». Повышение платы ведет к умножению браков. С ростом же народонаселения усиливается предложение труда: плата понижается до прежнего уровня. Если же она упала ниже этого уровня, то проистекающая отсюда нищета ведет к уменьшению числа рабочих рук: плата опять поднимается на прежнюю высоту. Из общей суммы производства, говорит Лассаль, выделяется лишь часть, потребная для скудного пропитания рабочих, остальное остается барышом предпринимателей. Положение рабочих может радикально измениться лишь тогда, когда весь доход от производства будет идти в их собственную пользу. А это возможно лишь при производительных товариществах с государственным кредитом, обнимающих собой весь рабочий класс. Государство, которое

помогает капиталистам строить железные дороги и притом так, что несет от этого убыток, а барыш идет капиталистам, должно, по его мнению, помогать кредитом и рабочим, которые, по его расчету, составляют 96 процентов всего прусского населения. Верным же средством к достижению этой цели мирным и законным путем Лассаль считает и рекомендует общее и прямое избирательное право. Только предложенные им меры, говорит он, могут повести к политическому, материальному и умственному подъему «четвертого сословия». Для успешной же пропаганды проповедуемых им идей он советует основать «Общегерманский рабочий союз». Такой союз, состоящий из ста тысяч немецких работников, из которых каждый вносит по три с половиной копейки в неделю, будет располагать ежегодно суммой в сто шестьдесят тысяч рублей на распространение своих идей. Если от 89 до 96 процентов населения, заканчивает Лассаль свой «Гласный ответ», поймут, что общеизбирательное право есть «вопрос желудка, и потому примутся за него со страстностью утоляемого голода, то нет той силы, которая долго устояла бы против них».

Такова практическая программа Лассаля. Вся его дальнейшая агитация была посвящена разъяснению тех положений и требований, которые он провозгласил в своем «Гласном ответе». Несмотря, однако, на огромный эффект, вызванный ответом Лассаля в рабочей среде, положения его далеко не отличаются той непогрешимостью, какую он им приписывал. Прогрессисты не без основания ополчились против брошюры. Но беда их состояла в том, что вместо дельных и убедительных возражений они сумели выставить лишь свое забавное невежество, чем, конечно, еще более повышали веру в мнимую основательность положений Лассаля. Так, например, прогрессисты утверждали, что «железный закон» заработной платы есть измышление лассалевского «полузнания и дерзости» и что наука политической экономии об этом законе ничего не знает. Между тем этот «закон» столь же стар, как и сама экономическая наука. Его признавали еще Тюрго, Смит и Рикардо, и Лассаль был совершенно прав, говоря, что «он может в подтверждение своих слов сослаться на столько великих и славных имен, сколько их вообще было в экономической науке». Из этого, однако, в действительности нисколько не следует, что данный «закон» верен. В *новейший* период капиталистического производства с его необычайным ростом производительности труда, с его частыми кризисами, с его огромной резервной армией рабочих и колоссальным развитием путей сообщения, наконец при существовании фабричного законодательства и других факторов, регулирующих до известной степени условия

труда, – «железный закон» потерял *всякое значение*.

Такой же «непогрешимостью» отличается предложенная Лассалем мера относительно производительных товариществ с государственным кредитом. Государственный кредит, предоставленный в непосредственное распоряжение производителей, нисколько не упраздняет неумолимых законов товарного производства. Стало быть, остаются в силе и все сопряженные с ним явления: конкуренция, перепроизводство, застой, банкротство. Другими словами, раз признав законы товарного производства, – как признал их Лассаль, – *невозможно* ожидать от производительных товариществ уже в эпоху этого товарного производства гарантии на получение участником товарищества *полной* ценности своего продукта. Это так же невозможно, как, признавая вращение Земли вокруг Солнца, невозможно представить себе какой бы то ни было предмет на Земле, который не был бы подвержен этому закону. Если же Лассаль, как это можно видеть из его позднейшего сочинения «Капитал и труд», мечтал о вовлечении *всех* производителей данной нации в соответствующие ассоциации, то это означает не что иное, как *полную реорганизацию* условий современного производства и постановку труда на *совершенно новых общественных* началах. А раз так, то на первый план выступает именно этот вопрос, а не вопрос о производительных товариществах. Таким образом, даже допустив возможность их осуществления, производительные товарищества были бы, пожалуй, в лучшем случае паллиативом, по существу мало чем отличающимся от паллиативов Шульце-Делича. Да и саму попытку их осуществления Лассаль соединял со странным предположением, что 89—96 процентов прусского населения выскажутся за них, используя общеизбирательное право. От парламента, в котором решающее большинство будет принадлежать капиталистам, Лассаль не мог, конечно, ожидать, что он даст средства на упразднение господ предпринимателей. Но дело в том, что те 89—96 процентов, на которые рассчитывал Лассаль, конечно же, не представляли собой однообразной массы. Кроме городских пролетариев, число это обнимало еще мелких ремесленников, крестьян и сельскохозяйственных рабочих. На последних, пребывающих еще и поныне под «благодатной» опекой прусских юнкеров, вряд ли можно было рассчитывать в ближайшем будущем, а что касается крестьян и ремесленников, то первые очень прочно стояли за неизбежность «рабочничка» в их хозяйстве, а вторые – за подмастерьев и «учеников». Интересы этих 89 процентов были далеко не одинаковы и их отношение к производительным товариществам в духе Лассалья тоже должно

было оказаться весьма разнообразным.

Впрочем, нужно заметить, что сам Лассаль смотрел на производительные товарищества лишь как на «переходную» экономическую меру. Это обнаружила его переписка с Родбертусом^[9]. И Родбертус совершенно прав, говоря, что «было два Лассалья: один – эзотерический, а другой – экзотерический». Другими словами, Лассаль считал преждевременным формулировать свои цели в полном соответствии с личным научным убеждением. Для него важно было дать массе конкретную цель, доступную ее пониманию. А это понимание находилось под слишком большим обаянием шульцевских и английских производительных товариществ на чисто акционерных началах. Приходилось, что называется, клин клином вышибать. И Лассаль имел основание считать свой «клин» не только меньшим злом, но даже полезным «заблуждением». Мы встречаемся в истории мысли с заблуждениями, приводившими к благотворным результатам. Химия есть родная дочь алхимии. Колумб был убежден, что доберется ближайшим путем до восточных берегов Азии и до Индии, и – открыл Америку. Приверженцы Лассалья увлеклись общеизбирательным правом во имя заблуждения, то есть во имя производительных товариществ, и пришли к целому ряду плодотворнейших результатов, несколько не разочарованные тем, что в числе последних было и *познание* ими своего первоначального заблуждения. Общеизбирательное право вполне оказалось тем «копьем, которое само исцеляет наносимые им раны».

С этой мыслью не могли, однако, согласиться прогрессисты. В их глазах общеизбирательное право было лишь желанным для реакции оружием, чтобы одолеть тогдашнюю оппозицию либералов. И надо признать, что, с точки зрения *интересов дня*, прогрессисты смотрели на *непосредственные* результаты общеизбирательного права трезвее Лассалья. Огромная масса населения Германии была лишена всякого политического воспитания и самосознания, и пока что «смеющимся третьим» оказались бы несомненно Бисмарк и его «наперсники». Действительно, тот же Бисмарк, опираясь именно на общеизбирательное право, вел свою внешнюю и внутреннюю политику беспрепятственно в течение двадцати трех лет. Но все-таки оппортунистские возражения прогрессистов бессильны были подорвать *принципиальное* значение лассалевского требования. Читатель и сам понимает, какой злобой должен был наполнить еретический «Ответ» Лассалья сердца прогрессистов. Они организовали против него настоящий крестовый поход в печати и собраниях, и нет ничего удивительного в том, что огромная масса

немецких рабочих смотрела тогда еще на Лассалья глазами прогрессистов. Его считали подручником реакции и агентом Бисмарка. Живо припоминая старые порядки, широкая масса представляла себе производительные товарищества не столько с государственным кредитом, сколько с вмешательством Бисмарка, а такая перспектива отнюдь не была заманчивой. Между тем надежды Лассалья далеко превосходили тот успех, на который он пока еще мог рассчитывать в действительности. В письме к приятелю 9 марта 1863 года Лассаль писал:

«Брошюра читается с необычайной легкостью. Рабочему должно показаться, что ему говорят вещи, давно известные, которых теперь никто никакими софизмами отнять у него не может. Так как „Ответ“ совпадает с практическим движением, то успех его должен сравниться с успехом „Тезисов“ Лютера в замковой церкви в Виттенберге». Впавши, однако, в раздумье, он тут же прибавляет: «Но, быть может, рабочее сословие еще не созрело. Если так, то я – мертвый человек».

И в самом деле, «Гласный ответ» Лассалья нашел благоприятный отклик лишь в Саксонии, на Рейне и в Гамбурге.

Познакомившись с посланием Лассалья, Лейпцигский комитет первый заявил о своем полном согласии с провозглашенными в нем принципами. Созванное им собрание рабочих высказалось после горячих прений с прогрессистами в том же духе. Тогда комитет обратился к Лассалю с настоятельной просьбой приехать в Лейпциг, чтобы произнести речь в публичном собрании. Лассаль приехал и 16 апреля говорил в присутствии четырех тысяч человек, главным образом рабочих. Речь его отличалась обычным красноречием, но нового он ничего не сказал. Он защищал свой «железный закон» рабочей платы, свои производительные товарищества, отстаивал общеизбирательное право и «отделял» прогрессистов за их бесхарактерность в политике и невежество в экономической науке. Ссылаясь на сочувствие к нему «великого экономиста» Родбертуса и лейпцигского профессора Вутке, Лассаль заметил, что осуществляются его слова о союзе науки с работниками. Речь его часто прерывалась свистками противников и рукоплесканиями сторонников. Из присутствовавших прогрессистов Лассалю возражал только один оратор, некий Соломон, специально приехавший для этой цели из Берлина. «Классическое» имя не спасло, однако, его обладателя. Лассалю ничего не стоило справиться с ним. Когда в конце заседания комитетом была предложена резолюция в духе Лассалья, то собрание приняло ее большинством голосов против семи. Группа присутствовавших прогрессистов от голосования воздержалась. Это была первая

осязательная победа Лассалья. Но до успеха «Тезисов» Лютера в замковой церкви в Виттенберге было еще очень далеко.

Прогрессисты тем временем не дремали и где только могли проводили резолюции против Лассалья. Правда, это удавалось им лишь на таких собраниях, на которых Лассаль не присутствовал. Однако на одном собрании рабочих в Майнском округе резолюция прогрессистов против Лассалья была отклонена, и было решено устроить диспут между ним и Шульце-Деличем. Собрание проходило 17 мая во Франкфурте-на-Майне, считавшемся твердыней прогрессистов. Большой театральный зал был битком набит народом. Шульце предпочел, однако, остаться дома. Лассаль же еще до собрания писал Родбертусу, что хотя он ждет мало пользы от таких диспутов, но ему нужен шум, его страстно тянет потряхнуть своей львиной «гривой»; он должен явиться на собрание и во что бы то ни стало одержать победу. Прогрессисты приняли все стратегические и даже гастрономические меры, чтобы предотвратить победу ненавистного смельчака. Председателем собрания был знаменитый натуралист Бюхнер, столп прогрессистов. В середину зала были допущены только члены рабочих «Союзов самообразования», между которыми было много фанатических противников Лассалья. Другие рабочие, не члены, должны были платить по шесть копеек за вход, и то лишь на галерею, причем они были лишены права участвовать в голосовании.

За ложи приходилось платить по гульдену (75 копеек). На всякий случай были приглашены небольшие группы рабочих из Оффенбаха, которых угощали «питиями» в соседнем трактире с поручением появляться время от времени на собрании и производить шум. И надо отдать справедливость «питиям»: группы действовали превосходно. Покуда говорил вожак прогрессистов Зоннеманн, предлагавший высказаться за Шульце-Делича, собрание вело себя тихо и чинно. Но совсем иное настало, когда слово было потом предоставлено Лассалю. Среди страшного шума, перерывов, свистков и криков «довольно!», сменявшихся, правда, и горячими рукоплесканиями, Лассаль произнес превосходную речь в защиту своего «Гласного ответа». Из-за шума, однако, ему не удалось окончить речь, и продолжение ее было отложено до следующего собрания, происходившего 19 мая во Франкфурте же. В каком страстном, но далеко не заискивающем перед слушателями тоне говорил Лассаль, видно из следующего инцидента. Когда на собрании поднялся было однажды ужаснейший шум, президент Бюхнер потребовал тишины, прося не прерывать оратора. «Подумайте же, – сказал он, – что надо предоставить г-ну Лассалю полную

свободу для защиты». «Я принужден, – возражает на это Лассаль, – протестовать против слова, которое вырвалось у г-на президента и на котором он, вероятно, не будет настаивать. Я здесь не обвиненный, и защищаться мне не приходится. Я явился сюда, чтобы учить вас, а не для своей защиты. Притом поймите, что я говорю не для своего удовольствия. Я готов тотчас же перестать, если этого желает большинство собрания». Но собрание покрыло эти слова громкими рукоплесканиями. На следующем собрании перед той же публикой Лассаль закончил свою речь. Настроение слушателей изменилось, по-видимому, в его пользу. На печатные упреки прогрессистов, что это неслыханная вещь, чтобы человек говорил целых четыре часа и сообщал скучные и сухие статистические материалы, Лассаль заметил в начале своей речи: «Мы собираемся заниматься экономическими вопросами, а не красноречием. Вы еще не привыкли к статистическому материалу. Вас надо хорошенько начинить им, надо возбудить в вас вкус к нему...» Победа Лассалья была полной. Когда резолюция была поставлена на голосование, более четырехсот человек высказалось «за», один – «против» Лассалья. Во время баллотировки человек сорок вышли из зала с криками: «Да здравствует Шульце-Делич!» Это была та самая победа, о которой Лассаль писал своим друзьям, что он побил прогрессистов теми войсками, которые они повели против него. На следующий день Лассаль выступал в Майнце с тем же успехом: восемьсот с лишним голосов против двух, собрание высказалось за Лассалья.

Эти сравнительно крупные успехи и привели к образованию «Общегерманского рабочего союза».

23 мая 1863 года в Лейпциг съехались делегаты из десяти крупных промышленных городов: Гамбурга, Кёльна, Дюссельдорфа, Франкфурта и других и основали вышеупомянутый «Союз», главной целью которого было достижение мирным и законным путем общеизбирательного права и производительных ассоциаций с государственным кредитом. На учредительном собрании присутствовали, кроме Лассалья, профессора Лейпцигского университета, Вутке, нескольких литераторов и общественных деятелей, около шестисот рабочих. Достоверно известно, что Лассаль в первое время не хотел было принимать на себя обязанности президента «Союза», чтобы не быть связанным в своей политической деятельности. Лишь по настоянию друзей, в особенности же графини Гацфельд, он согласился на это. И то лишь в том случае, если будут приняты статуты, выработанные им вместе с его другом демократом Ф. Циглером. Разумеется, статуты эти были

приняты, а Лассаль был избран президентом на пять лет и облечен почти диктаторской властью. Такая централизация объяснялась не только прусскими законами о союзах, но и взглядом Лассалья, что «Союз» должен стать «молотом в руках одного человека». Членом «Союза» мог быть всякий, признававший устав и плативший по три с половиной копейки в неделю. Президент сам назначал вице-президента и своих уполномоченных в различных городах и центрах. Таким образом, первый практический шаг был сделан.

Лассаль прежде всего устремил свое внимание на то, чтобы к движению открыто пристали люди с влиянием и ученым авторитетом. Но все его старания в этом отношении имели очень малый успех. Так, например, Родбертус, несмотря на свое глубокое уважение и симпатии к Лассалю, воздерживался от участия в движении. Причиной этому были не только его разногласия с Лассалем в вопросе о «производительных ассоциациях», но еще больше – крайне скептическое отношение Родбертуса к общеизбирательному праву, «убеждены ли вы, – спрашивает он Лассалья, – что средство это приведет здесь с естественной необходимостью к поставленной вами цели? Я в это не верю».

Как всегда бывает при возникновении нового движения, к Лассалю пристали люди самого разнообразного склада, умственного и нравственного. Его ближайшие соратники, его штаб представлял собой весьма пеструю компанию. В ее среде были люди толковые и энергичные, но были также сомнительные субъекты и просто тюфяки. Не обходилось, конечно, без разногласий, и Лассаль не устал всюду попевать: он просвещал, поучал, успокаивал и укрощал. Когда ему казалось, что спорщик – один из тех людей, с которыми, по выражению Гёте, и боги ничего не поделают, то он принимал и генеральский тон: «Если вы, мой милый, еще не убедились в верности моих слов, то я апеллирую к дисциплине: должна господствовать одна воля!...»

Но уже спустя месяц после основания «Союза» Лассаль должен был передать на лето ведение его дел другому лицу – доктору Даммеру. Усиленные занятия, судебные процессы, речи, агитация, полемика – то, что Лассаль написал за полгода, с января по июнь, добрых тридцать печатных листов, – все это переутомило его и ослабило его здоровье. Организм его настоятельно требовал отдыха. Лассаль провел лето на курортах Германии и Швейцарии. Где бы, однако, Лассаль ни находился, он отовсюду следил за делами «Союза». Ему присылались аккуратные рапорты о состоянии движения. Оказывалось, что

дело продвигалось *туго*, по крайней мере далеко не так быстро, как этого ожидал сам Лассаль. Вербовка новых членов происходила очень медленно и с большим трудом. В августе 1863 года, то есть спустя три месяца после основания, «Союз» насчитывал не больше одной тысячи платящих взносы членов. Хотя эта цифра сама по себе довольно солидная – в особенности если принять во внимание, что *платящие* члены «Союза» составляли меньшинство среди его последователей, – но что значила она для Лассалья, которому нужно было широкое народное движение, фантазия которого ворочала чуть ли не десятками и сотнями тысяч?! Но Лассаль не принадлежал к разряду людей, легко падающих духом и сдающихся при первом сопротивлении или неудаче. Он измышлял всевозможные средства, готовился произвести «смотр» своим «войскам» и обдумывал план кампании.

В сентябре 1863 года Лассаль отправился на Рейн, где он пользовался наиболее устойчивыми симпатиями рабочего населения. За время с 20 по 29 сентября он выступал с речами в народных собраниях Бремена, Золингена и Дюссельдорфа. Произнесенную во всех этих собраниях речь он издал отдельной брошюрой под названием «Празднества, пресса и Франкфуртское депутатское собрание». Брошюра эта является как бы *поворотным пунктом в его агитации*. Серьезный, продуманный тон отодвигается в ней как будто на задний план, а на передний выступают скрытые дипломатические соображения, чтобы не сказать – демагогическая неразборчивость в средствах. Многие заставляет думать, что уже во время летних странствований по курортам у Лассалья завязались те связи, которые привели его потом к прямым переговорам с Бисмарком. Страстная до болезненности жажда быстрых успехов своему туго продвигавшемуся вперед делу толкала Лассалья на скользкий путь. Движение «Ахерона» оказалось для него слишком спокойным, и он стал рассчитывать на помощь «богов».

Это было в разгар «конституционной» борьбы прогрессистов с правительством. Ландтаг, в котором прогрессисты имели подавляющее большинство, был распущен. Прогрессисты устраивали демонстративные собрания под видом банкетов, а во Франкфурте происходило собрание бывших депутатов, в котором прогрессисты – вопреки своей прежней точке зрения – высказались за *федеративное* объединение Германии. Вот эти-то банкеты, депутатское собрание, а заодно уж и прогрессистскую печать и подверг Лассаль беспощадной критике. Конечно, мы не привыкли, чтобы Лассаль говорил о прогрессистах языком великосветской гостиной. Но в данном случае критика его была

не чем иным, как целым рядом придирок, и притом придирок, не лишенных своеобразного «букета». Из-за вышеупомянутой политики – расположить Бисмарка к себе и своим планам – Лассаль делает ему комплименты в своей речи, а ненавистных реакции прогрессистов рубит сплеча, без всякой оглядки на справедливость и здравый политический такт. В качестве оружия против них он использует зачастую выдержки из реакционных газет, язвительные упреки которых говорили скорее в пользу прогрессистов, чем против них. Лассаль нападает на их прессу, в то время как последняя подвергалась и преследованиям со стороны Бисмарка. Он укоряет их за то, что они – в пику Бисмарку – поговаривали об объединении Германии не под гегемонией Пруссии, между тем как он сам же преследовал их прежде за то, что они мечтают о едином отечестве под прусской каской. О Бисмарке же Лассаль отзывается в своей речи так: «И даже если бы нам пришлось обменяться с Бисмарком ружейными выстрелами, справедливость заставила бы нас еще в момент пальбы признать, что он – мужчина, между тем как прогрессисты не что иное, как старые бабы...» Что он произносил свою речь *ad usum delphini*^[10], то есть подмигивая «горным обителям», вытекает, между прочим, из письма его близкому другу: "...то, что напечатано в этой брошюре, я говорил лишь для двух-трех господ в Берлине (*für ein paar Leute in Berlin*)». Реакционная пресса в качестве *tertius ridens*^[11] встретила речь Лассаля с большим одобрением и даже восторгом. Что же касается массы рабочих слушателей, с восторгом и благоговением внимавших бледному и стройному оратору, то их электризовала главная идея речи, то есть принцип самостоятельного политического движения. Эта идея застлала перед ними смысл и значение побочных нападений и намеков.

Да не подумает, однако, читатель, что эта речь Лассаля не отличается ровно никакими достоинствами. В отдельных частях своих она достигает той красоты и ораторского блеска, которые так ярко характеризуют все его прежние речи. В этом отношении весьма выразительно то место, где он бичует немецкую буржуазную *прессу* с ее принципом «чего изволите?», с ее продажностью, пошлостью, погоней за барышом, за объявлениями. Эта тирада горит неподдельным пафосом и гневом библейского пророка.

«Поймите, – восклицает он, – если тысячи газетных писак, эти современные учителя народа, своими ста тысячами голосов вдыхают в народ свое тупое невежество, свою бессовестность, свою ненависть евнухов ко всему истинному и великому в политике, искусстве и науке, – в народ, который с верой и

доверием протягивает руку к этому яду, надеясь почерпнуть из него духовную силу, то не миновать гибели этому народному духу, будь он хоть трижды так прекрасен».

Поговорив дальше об общем значении печати и мерах к устранению царящей газетной деморализации, он заключает:

«Держитесь крепко, с пламенной душой за тот лозунг, который я вам бросаю (zuschleudere): *„Ненависть и презрение, смерть и гибель нынешней прессе“*. Это смелый клич, исходящий от одного человека против тысячерукого учреждения газет, с которыми уже тщетно боролись короли. Но как истинно то, что вы страстно и жадно льнете к моим устам, и как истинно то, что душа моя, сливаясь с вашей, содрогается самым чистым восторгом, – столь же истинна и уверенность, меня проникающая, что *грядет момент, когда засверкает молния, которая свергнет эту прессу в вечный мрак!!!*»

Собрание в Золингене, состоявшее из пяти тысяч человек, не обошлось без шумного инцидента. Речь его была постоянно прерываема несколькими прогрессистами, присутствовавшими на этом собрании. Это привело в конце концов к свалке между рабочими и прогрессистами, что дало тамошнему бургомистру, также прогрессисту, повод к роспуску собрания. Лассаль энергично протестовал против этого. Когда же протест его оказался тщетным, он, сопровождаемый добрым десятком тысяч народа, отправился на телеграф, где послал министру-президенту Бисмарку телеграмму, жалуюсь на бургомистра. Телеграмма эта осталась, однако, без всякого ответа.

Завершив свою Рейнскую кампанию, Лассаль 7 октября возвратился в Берлин. Тут он горячо принялся за дело привлечения берлинских рабочих к своему движению. С этой целью он написал брошюру под заглавием «Обращение к берлинским рабочим» и распространил ее в шестнадцать тысяч экземпляров. Брошюра посвящена главным образом отстаиванию общеизбирательного права. Однако результаты были незавидными. На собраниях ему почти не удавалось говорить, так как все они систематически расстраивались прогрессистами, прибегавшими к тем «героическим» средствам, с которыми мы встречались раньше. Доходило даже до того, что рабочие-прогрессисты издевались над Лассалем и чуть ли не оскорбляли его действием. Когда он за неявку в дюссельдорфский суд был однажды арестован на одном берлинском собрании, многие рабочие аплодировали. В то время как в Берлине в начале декабря 1863 года насчитывалось до трехсот членов «Союза», число это с каждым месяцем все больше и больше уменьшалось. К тому же значительная часть движения состояла из безработных.

Читатель помнит, что на приговор суда по делу о его первой лекции Лассаль подал апелляцию. 12 октября 1863 года оно опять разбиралось во второй инстанции, перед которой Лассаль должен был произнести в свою защиту речь «О косвенных налогах», но из-за болезни горла произнес лишь часть ее. Еще летом Лассаль издал эту речь отдельной брошюрой. Она относится, по времени своего появления в печати, к периоду, предшествовавшему тому повороту, о котором мы говорили выше, и включает в себе все крупные достоинства его лучших произведений. Подавляющая эрудиция в экономических вопросах, в высшей степени искусное жонглирование свидетельствами и показаниями выдающихся государственных деятелей, действительных тайных советников, правительственных органов вплоть до министра Мантейфеля и даже до самого короля – давали в связи с беспримерным по своей серьезности и искренности пафосом такой ансамбль, что вся мотивировка приговора первой инстанции лопнула под язвительным дыханием лассалевского красноречия, как огромный мыльный пузырь. Значительнейшая часть трактата посвящена доказательству, что косвенные налоги являются в Пруссии средством перенесения податного бремени с имущих классов на неимущие. В остальном речь посвящена защите положений его лекции против возможного приговора и прокурора, настаивавшего на девяти месяцах тюремного заключения.

«Я, – говорит Лассаль, – всей душой стараюсь внушить рабочим не винить конкретные личности, потому что они – невинный и произвольный продукт обстоятельств, и будь рабочие на месте тех, которых они осуждают, они ни на волос не были бы лучше, – а меня обвиняют в возбуждении ненависти и презрения к этим личностям. Это такое же побуждение к ненависти и презрению, – продолжает Лассаль, – как, например, вызов Христа: „Кто сознает себя чистым, брось первый камень!“ – был побуждением к убийству... Неужели, – спрашивает он, – вы в самом деле можете думать, что человек, одержимый страстью Фауста, дошедший серьезным, упорным трудом от греческой философии и римского права через все этапы исторической науки до современной экономики и статистики, может закончить таким „умыслом“?»

Раскрывая дальше свой взгляд на государство, Лассаль заносит свой бич над манчестерцами.

«Господа! – говорит он судьям. – Ведь вы не принадлежите к манчестерцам, к этим современным варварам, которые ненавидят государство, – не ту или другую государственную форму, а вообще государство! – которые, как сами иногда сознаются,

хотели бы уничтожить всякое государство, продать с молотка правосудие и полицию и вести войну акционерными обществами, дабы во всей вселенной не осталось ни одного нравственного закона, который мог бы оказывать сопротивление их вооруженной капиталом эксплуататорской алчности!!!»

Кончая свою защиту, Лассаль между прочим заявляет, что неудобства четырехмесячного заключения ничтожны в сравнении с громадными усилиями, употребленными им для того, чтобы добиться оправдания. Но он счит своей обязанностью разъяснить предмет ради судей, чтобы предохранить их от беспримерной несправедливости, ради науки, чтобы отстоять обширную область умственной деятельности. «Я был обязан ради страны испытать, тот ли остался у нас суд, о котором при Фридрихе Великом до Франции дошла поговорка: „Il yades juges à Berlin“ – „Есть судьи в Берлине“.» Берлинская королевская судебная палата заменила, как мы уже знаем, тюремное заключение сторублевым штрафом. При состоятельности Лассалья это наказание было равносильно полному оправданию.

Зиму 1863/64 года, последнюю зиму своей жизни, Лассаль провел в Берлине. Она принесла ему большие огорчения и хлопоты по делам «Общегерманского рабочего союза». Не только в Берлине, но и в остальной Германии рост «Союза» продвигался очень медленно, денежные дела обстояли еще хуже, и Лассалю приходилось тратить большие суммы из своего кармана. Все это вело к тому, что в недрах «Союза» возникали разногласия, дразги и препирательства. Кое-где ближайшие сотрудники поднимали оппозицию против «диктатора». Они отстаивали реформу «Союза» на почве децентрализации, о которой Лассаль и слышать не хотел. Ему нужен был «молот в руке одного человека». С точки зрения текущих политических потребностей, Лассаль был, конечно, прав, отстаивая строгое единство. Но были правы и его оппоненты, видевшие в этой тактике опасность для демократического принципа. Большим утешением служили Лассалю многочисленные знаки признательности и благодарственные письма, приходившие к нему в течение этой зимы со всех концов Германии, снабженные сотнями подписей рабочих. В такие минуты он снова воодушевлялся, предаваясь активному труду и розовым надеждам.

Как человек научно мыслящий, Лассаль понимал, какое огромное значение имеет разработка политической экономии для познания и решения существенных проблем современной жизни. Он собирался, по его словам, написать серьезное исследование «Об основаниях научной политической экономии». С общим планом такого обширного исследования мы встречаемся уже в его

«Системе приобретенных прав». В первом томе этой работы Лассаль пишет:

«В социальном отношении мир занят теперь вопросом, может ли человек составлять *посредственно* собственность другого человека, так как непосредственной собственностью он уже не может быть, то есть должно ли свободное осуществление и развитие рабочей силы быть исключительной собственностью владельца рабочего материала и рабочей ссуды (капитала); должен ли, следовательно, предприниматель *как таковой* помимо вознаграждения за свой умственный труд получать в собственность чужую трудовую ценность (премию или прибыль капитала, составляемую разностью продажной цены продукта и суммы всех плат и вознаграждений, полученных *всеми* работниками, в том числе и *умственными*, которые были нужны для произведения продукта)?»

Но, получив в 1863 году известное письмо лейпцигского комитета, Лассаль, вовлеченный в водоворот практической деятельности, вынужден был оставить свое первоначальное намерение. Между тем практическая деятельность показала ему, как важен хоть какой-нибудь «кодекс», в котором деятельность «Союза» находила бы необходимую опору во всех теоретических вопросах. Для удовлетворения этой потребности Лассаль воспользовался зимой 1863/64 года, чтобы, так сказать, на бивуаке, написать такой «кодекс». Мы говорим о его главном сочинении по политической экономии «Бастиа-Шульце из Делича. Экономический Юлиан, или Капитал и труд». Это сочинение, составляющее более пятнадцати печатных листов, Лассаль написал в течение четырех месяцев, среди множества дел и переписки, касающихся «Союза», среди агитации и полемики его с противниками, среди беспрестанной возни с судами и администрацией и к тому же в удрученном состоянии духа. В январе 1864 года оно появилось уже в печати.

Содержание книги распадается на две взаимозависимые части. Одна представляет собой критику «либеральной» политической экономии; другая – положительное развитие понятий о различных экономических категориях. На основе этих рассуждений Лассаль развивает в общих чертах свои окончательные социальные выводы, а также и свой взгляд на производительные ассоциации с государственным кредитом. Как политэконом Лассаль не был самостоятельным ученым. Во всех своих произведениях, где затрагиваются теоретические вопросы политической экономии, он опирается *главным образом* на труды Маркса (исключая теорию «железного закона»). И в сочинении «Капитал и труд» Лассаль следует работам Маркса, в особенности

же его известному исследованию «Zur Kritik der politischen Oekonomie»^[12], появившемуся в 1859 году. Сам Лассаль – правда, лишь по отношению к одному вопросу, – прямо признается в этом.

«Все, что я вам только что сказал о деньгах и об общественном значении рабочего времени как единицы меры ценности, – все это всецело заимствовано мною, все это представляет лишь краткое, сжатое извлечение из одного в высшей степени важного и превосходнейшего сочинения... Это великолепное сочинение Карла Маркса „К критике политической экономии“, составляющее эпоху в развитии экономической науки», – говорит Лассаль в конце третьей главы своей книги.

То же самое можно было бы сказать и относительно других глав, и если Лассаль этого не делает, то это, конечно, происходит не потому, что он хотел выдавать чужое учение за свое собственное, – что признал и Маркс, объясняя это «условиями пропаганды».

Что же касается практических выводов Лассалья относительно производительных ассоциаций с государственным кредитом – заимствованных Лассалем, с одной стороны, у Луи Блана (государственный кредит), с другой – у Прудона (полную самостоятельность этих ассоциаций), – то Маркс не только не имел ничего общего с ними, но и прямо считал их бессмыслицей – с точки зрения конечных целей самого же Лассалья.

Однако, несмотря на то что Лассаль не был самостоятельным экономистом, его книга «Капитал и труд» произвела большую сенсацию не только среди друзей, но и противников. Этой сенсацией она обязана своей яркой полемике с Шульце-Деличем. Читатель имел уже удовольствие познакомиться с «королем в социальной области». Этот-то Шульце выступил, как бы в противовес агитации Лассалья, перед берлинскими рабочими с целым циклом лекций по политической экономии, которые он потом издал отдельной книжкой под названием «Глава из катехизиса немецких рабочих». Здесь он собрал в единое целое весь арсенал учений либеральной экономической школы, в большинстве случаев слепо повторяя их за своим французским оригиналом Бастиа – известным проповедником пресловутой «гармонической теории», – не обнаруживая, впрочем, остроумия последнего. В шестой из этих лекций Шульце полемизирует с «Гласным ответом», нападает на лассалевский проект о производительных ассоциациях с государственным кредитом, причем в доказательство своей учености он не преминул обозвать Лассалья «дерзким полужнайкой». Если Лассаль и вообще-то не любил оставаться в долгу перед своими критиками, то

«Экономического Юлиана» он уже давно готовил, чтобы показать им свои когти. Эти когти по отношению к Шульце оказались беспощадными, смертельно-язвительными. Лассаль уничтожает своего противника всеми средствами – позволительными и непозволительными. Ибо справедливость требует сказать, что нападки его зачастую выходят далеко за пределы обычной литературной полемики. Меткая и блестящая в одних местах, речь Лассалья доходит в других до мелочности и грубости. Но если принять во внимание то душевное настроение, в котором писалась эта книга, едва ли можно этот внешний недостаток вменить Лассалю в особенную вину. Напротив, соображаясь именно со всеми неблагоприятными обстоятельствами, о которых мы говорили выше, нельзя не согласиться с Бернштейном, что «эта книга дает новое доказательство необыкновенного таланта, поразительной разносторонности и эластичности ума Лассалья... Местами, – продолжает Бернштейн, – изложение „Бастия-Шульце“ поднимается на высоту лучшего, что когда-либо написал Лассаль, и в таких местах его гений еще раз озаряется самым светлым блеском».

Недостаток места не позволяет нам полностью проследить полемику Лассалья с Шульце. Но едва ли это прибавило бы что-нибудь новое к тому, что уже нам известно относительно экономических взглядов и общего мирозерцания ее автора.

Это сочинение Лассалья является как бы параллелью к его книге «Юлиан Шмидт». Там он ставил задачей сразить «литературного идола». Здесь же он хотел «теоретически завершить свое восстание против политического и экономического идола». Посвящая свое сочинение не только рабочему сословию, но и буржуазии, Лассаль говорит в предисловии, что не ждет, конечно, того, чтобы оно обратило в его убеждения всю немецкую буржуазию как сословие. «Никакая теория, – говорит он, – не может возвысить целое сословие над его действительными или мнимыми интересами». Но он надеется, что книга «возбудит в ней стыд, стыд за абсолютное, бездонное ничтожество слабоумного идола, которого она провозгласила своим героем, увенчала лаврами и прославила на весь мир, – и все это единственно в уповании на авторитет „газетной братии“, как говорит Гёте!»

Благодаря полемической форме и популярному изложению, книга оказала большое влияние на современников Лассалья, особенно на его приверженцев. Она действительно сделалась для них до известной степени «кодексом». Недаром же австрийский министр финансов Плэнер говорит, что эта книга Лассалья, вместе с прочими его работами по общественным вопросам, «имеет

значение поворотного пункта в научном и социально-практическом развитии Германии».

По выходе «Бастиа-Шульце» прогрессисты, которые со своей стороны в полемике уступали Лассалю разве только в меткости, но уж никак не в грубости, не преминули, конечно, накинуться на «тон» книги с тем большим азартом, что по существу им возражать было нечего. Сам же Шульце выступил с ответом только через два года, возражая, впрочем, лишь по вопросу о производительных товариществах с государственным кредитом.

К последней же зиме 1863/64 года относятся и связи Лассалья с Бисмарком. О них *достоверно* стало известно лишь в 1878 году, когда Август Бебель предал их гласности в германском парламенте. На основании безусловно верных сообщений графини Гацфельд, Бебель заявил, что Бисмарк через посредство одного из принцев королевского дома и графини Гацфельд старался побудить Лассалья завязать с ним дружбу. Лассаль упорно отказывался, считая, что первый шаг должен сделать сам Бисмарк. И он, видя, что Лассаль упорно стоит на своем, решился наконец написать через своего тайного секретаря доктора Цительмана письмо, подписанное также им, Бисмарком, в котором приглашал к себе Лассалья на свидание – для переговоров. Вследствие этого приглашения состоялся целый ряд встреч Бисмарка с Лассалем. И всякий раз перед встречей с Лассалем Бисмарк давал строжайшее приказание решительно никого не принимать. Таким образом было однажды отказано и баварскому посланнику, приезжавшему к Бисмарку по очень важному делу. В этих долгих переговорах центральными являлись два вопроса: октроирование^[13] общеизбирательного права, которое казалось необходимым Бисмарку для подавления прогрессистской оппозиции, и разрешение государственного кредита для производительных ассоциаций. Бисмарк соглашался на то и другое, но откладывал все это до счастливого завершения шлезвиг-гольштинской войны. Это обстоятельство, как и то, что Бисмарк смотрел на Лассалья не как на равноправного контрагента, за спиной которого была партия, а как на прекрасное орудие против прогрессистов, заставило Лассалья прервать с ним сношения.

Понятно, что разоблачение тогдашних намерений Бисмарка – *навязать* общеизбирательное право сверху – не пришлось по вкусу имперскому канцлеру. В своем ответе он принял позу конституционного целомудрия. Впрочем, дадим слово князю Бисмарку, тем более что ответ нашего юнкера не лишен известного интереса и как характеристика Лассалья.

«Наши сношения, – сказал Бисмарк, – отнюдь не имели

характера политических переговоров. Что мог мне Лассаль предложить и дать? За ним не было никакой силы. Во всех политических переговорах играет роль принцип *do ut des* – я даю с тем, чтобы и ты дал... Лассаль же мне как министру ничего дать не мог. То, чем он обладал, было такого рода, что в высшей степени привлекало меня как частного человека. Он был один из одареннейших и любезнейших людей, с какими я когда-либо встречался, – человек с честолюбием высшего ранга, отнюдь не республиканец. У него был вполне национальный и монархический образ мыслей... Его идеей была Германская империя, и в этом мы сходились. Лассаль был страшно честолюбив. Он, пожалуй, сомневался в том, завершится ли Германская империя династией Гогенцоллернов или династией Лассаля... Лассаль был энергичный и очень умный человек, беседа с которым была весьма поучительна. Наши беседы тянулись часами, и я всегда жалел, когда они подходили к концу. Неверно, что я будто бы разошелся с Лассалем. Отношения наши покоились на взаимном расположении. Он замечал, что я смотрю на него как на умного человека, с которым приятно разговаривать, и являюсь интеллигентным и внимательным его слушателем. О переговорах уже потому не могло быть речи, что я лично мало говорил. Разговор поддерживался главным образом им самим, но в самой приятной и милой форме. Всякий, кто его знал, подтвердил бы мои слова. Он не был тем человеком, с которым можно было входить в сделки на почве *do ut des*, но я жалею о том, что его политическая позиция и моя не позволяли мне поддерживать с ним постоянные отношения. Зато был бы весьма рад иметь своим соседом по имени человека столь талантливого и умного... Конечно, мы говорили и об общеизбирательном праве, но никак не об октроировании последнего. Я был всегда далек от такой чудовищной мысли – навязать общеизбирательное право... Что же касается производительных товариществ с государственным кредитом, то я еще и теперь не убедился в их нецелесообразности...»

Трудно, однако, думать, что Лассаль ограничивался ролью приятного собеседника в своих разговорах с «честным маклером». Сомнительно также, чтобы для Бисмарка, который находился тогда на пороге своей политики «крови и железа», такой человек, как Лассаль, мог быть политической *quantité négligeable* – ничтожной величиной. В этом случае можно смело поверить даже г-же фон Раковиц (Дённигес), которая, передавая свой разговор с Лассалем о Бисмарке, приписывает Лассалю следующие слова: «Мы не пришли ни к какому соглашению, Бисмарк и я; мы никогда не будем действовать вместе. Мы оба слишком хитрили и

поняли нашу взаимную хитрость. В сущности мы бы кончили тем, что расхохотались бы друг другу в лицо, но для этого мы слишком хорошо воспитаны. Поэтому и разошлись».

В судебной речи, произнесенной Лассалем весной 1864 года, с полной очевидностью отражаются тогдашние планы прусского правительства, в которые Лассаль был хорошо посвящен.

«Хотя не более как частный человек, я, однако, говорю вам прямо, господа: я не только хочу низвергнуть конституцию, но года не пройдет, как я *низвергну* ее! Но как? Так, что при этом не прольется ни одной капли крови, ни один кулак не поднимется на насилие! Не пройдет, может быть, и года, как общее и прямое избирательное право будет *введено* самым мирным образом. Ведя сильную игру, можно играть в открытую, господа! Самая *сильная* дипломатия та, которой *нет надобности* облекать свои расчеты в тайну, потому что они основаны на железной необходимости...»

Как известно, Лассаль в своих расчетах не ошибся. Общеизбирательное право было действительно введено в 1867 году. Правда, оно было не навязано, а послужило как бы органической основой для нового союза Северо-Германских государств. События, наступившие после войны с Австрией, изменили первоначальный план Бисмарка навязать его «сверху» для Пруссии. Что Лассаль был посвящен в планы Бисмарка, видно и из того, что в шлезвиг-гольштинском вопросе он стоял на стороне Пруссии – вопреки прогрессистам и общественному настроению в прочих союзных странах. Бисмарк, однако, прав, говоря, что Лассаль не прерывал с ним окончательно всяких отношений. Лассаль и после не переставал присылать Бисмарку через канцелярию «Общегерманского рабочего союза» по два экземпляра своих речей – в запечатанном конверте, с надписью: «В собственные руки».

Как мы уже раньше упоминали, Лассалю вечно приходилось возиться с судами и администрацией. Бисмарк, поддерживавший с ним отношения и даже расточавший ему комплименты, придерживался, по-видимому, поговорки: «Люблю, как душу; трясусь, как грушу». Этим трясением занималась, конечно, прусская прокурорская власть. За известную читателю речь «Празднества, пресса...», которая так понравилась консерваторам, Лассаль был заочно приговорен дюссельдорфским судом к году тюремного заключения. Вторая инстанция, перед которой Лассаль защищался лично, сократила это наказание на шесть месяцев. Во время этого процесса Лассаль был однажды арестован на улице в Берлине, когда он шел под руку с графиней Гацфельд. Полицейские отправились с ним на квартиру, стояли там до самого вечера, как статуи, а затем были отозваны. Лассаль

накинулся за это на администрацию в такой резкой форме, что в мае 1864 года последовал новый процесс, и он был вновь осужден на четыре месяца тюремного заключения. Но самое крупное дело «разыгралось» 12 марта 1864 года в Берлинском государственном суде, где Лассалья обвинили в государственной измене. Преступление состояло в том, что своим «Обращением к берлинским рабочим» Лассаль, по мнению обер-прокурора, взывал к насильственному изменению конституции и введению общеизбирательного права. Разбирательство изобиловало бурными инцидентами. Лассаль произнес блестящую речь, не лишенную, впрочем, как мы уже раньше указывали, своеобразных следов его отношений с Бисмарком. Вот что писал Лассаль своей сестре на другой день после процесса:

«Милое дитя! Вчера была великая баталия! Разбирательство по обвинению меня в государственной измене происходило перед Государственным судом. Дело было жаркое. Обер-прокурор лично вел обвинение и предложил всего только три года заключения в смиренном доме, пять лет полицейского надзора и сто рублей денежного штрафа. Заседание длилось от десяти до шести часов. Я говорил четыре часа, временами с яростью королевского тигра! От трех до четырех раз я был прерван бешеным ревом судей, привскакивавших со своих мест. Но я укрощал моих львов так же хорошо, как Бэтти. Я предлагал им лишить меня слова, если им так угодно. Но покуда, говорил я, слово за мной, я буду говорить свободно, как свободно парит птица в воздухе. Лишать меня слова они не решались, ибо это послужило бы очевидным поводом для кассации. Поэтому они от мятежа возвращались каждый раз к смирению, и я бодро шел вперед, мощно потрясая нагайкой. Когда судьи удалились на совещание, вся аудитория представляла собой крайне печальное зрелище. На заседание явилось много моих друзей. Между ними не было ни одного, который не считал бы меня потерянным человеком. Такое впечатление производило озлобление судей. Дорн, бывший в публике и как все с преданностью выдерживавший томивший его голод, сказал мне: „Государственный суд еще никогда никого не оправдал“. Он советовал мне быстро уехать в безопасное место. То же самое советовал и Гольтгоф, который решительно не верил в мое оправдание. Все друзья бурно требовали от меня того же. Но я считал для себя недостойным обратиться в бегство. Я выжидал, как скала в бурю, хотя мой немедленный арест, в случае осуждения, не подлежал сомнению, да и сам я не верил больше в мое оправдание – так сильно было озлобление. Можешь себе представить, что вытерпела графиня, бывшая тут же! Вот так я ждал возвращения судей. Это был *четвертый* раз в моей жизни,

когда я предчувствовал свое полное уничтожение. Наконец они вшили и объявили меня *оправданным*. Если бы ты видела ликование моих друзей, в особенности графини и Бухера, который от радости чуть не перекувыркнулся! А лицо обер-прокурора! Он похож был на кошку, напившуюся уксуса. Президент очень любезно подошел ко мне, выразил свое удивление моему голосу и сожаление, что мне пришлось так напрягать его, ибо ему из актов известно, что я страдаю горлом. Он уверял теперь, что вызвал к моей умеренности в интересах моего горла!..»

Справившись с этим процессом, Лассаль снова воспрянул духом и обратился к своим «военным смотрам». Это были последние его агитационные поездки, представлявшие собой сплошное триумфальное шествие по преданным ему общинам. 11 мая он выехал из Берлина в прирейнские провинции. По дороге он завернул в Лейпциг, говорил там на собрании местных членов «Союза», а затем направился в Золинген, Бремен, Кёльн и Вермельскирхен. Во всех этих городах народ встречал его с энтузиазмом.

«В нашей общине, – писала одна газета в своем отчете от 19 мая 1864 года, – происходил сегодня праздник, какого никто из старожилов не припомнит... Еще до въезда в город, на железнодорожной станции Кюнерштег, президент был встречен депутацией здешних рабочих, прибывших на двух телегах, украшенных по-праздничному венками. На расстоянии трех часов езды от Кюнерштега до Вермельскирхена масса работников и поселян то и дело присоединялись к кортежу. На меже, отделяющей Вермельскирхен от Буршейда, через всю шоссейную дорогу красовалась триумфальная арка с надписью: „Добро пожаловать!“ Тут происходило первое формальное приветствие, состоявшее в речи, обращенной к президенту, троекратном „ура!“ и песне, спетой под аркой... Кортеж так разросся, что телеги с трудом могли продвигаться вперед среди теснившейся массы работников, крестьян и детей».

Дальше следует подробнейшее описание триумфа Лассалья в самом городе. Об этой встрече Лассаль писал графине Гацфельд: «Ничего подобного я за свою жизнь не видел! Тут не было уже речи о торжестве или собрании, устроенном партией. Все население охвачено было неописуемым ликованием... Мне постоянно казалось, что так должно было происходить при основании новых религий...»

Последним же триумфом Лассалья стала годовщина основания его «Союза», которая была отпразднована 22 мая 1864 года в Ронсдорфе с большой помпой. Тут не было числа

триумфальным аркам, цветам, серенадам, приветствиям, депутациям, «почетным девицам» (Ehrenjungfrauen) и непрекращавшимся крикам «ура!» огромной массы народа, – словом, Лассалья прославляли тут, точно короля. Народ теснился вокруг заваленной гирляндами и венками телеги, на которой находился Лассаль. Всякий протискивался к трибуну, чтобы с религиозным благоговением пожать его протянутую руку. В Ронсдорфе Лассаль произнес свою последнюю речь, которая была как бы его «лебединой песнью». Она появилась потом в печати под заглавием «Агитация Общегерманского рабочего союза и обещание прусского короля». Горделиво-лаконичным слогом победоносного полководца Лассаль перечисляет в ней успехи «Союза», необыкновенно их раздувая и обольщая таким образом и слушателей, и себя самого. Он много говорит о короле, внявшем будто бы голосу его агитации. Он не забывает и католического прелата Кеттелера, с большим сочувствием относящегося к лассальянцам. Одним словом, за него и кесарь, и сам Бог в лице рейнского патера. Успех рабочего дела, стало быть, обеспечен. В конце своей речи Лассаль, точно предчувствуя свою близкую кончину, говорит собранию, что, поднимая знамя нового движения, он знал: путь его усеян не розами, а терниями.

«Но те чувства, которые возбуждает во мне мысль о возможности моей личной гибели, я лучше всего могу выразить стихом римского поэта: „Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor!“ („Когда я погибну, пусть из костей моих восстанет преемник и мститель!“). Пусть не погибнет со мной это великое национальное культурное движение; пусть зажженный мною пожар пожирает вокруг себя все – дальше и дальше, пока жив будет хоть один из вас! Обещайте мне и в знак обещания поднимите руки!...»

В величайшем волнении собрание как один человек поднимает руки. Долгое бурное рукоплескание провожает народного трибуна.

Это была последняя агитационная речь Лассалья, – последняя и, нужно прямо сказать, самая слабая из всех его речей, – как по содержанию, так и по ее тенденции. Вся она построена на посторонних соображениях, которые, как белые нитки, сквозят и в самых красноречивых, патетических местах. Еще больше, чем в речи «Празднества, пресса...», он старается внушить правительству убеждение и веру в политическую силу своей партии, чтобы таким образом оказать влияние на его политику, на его намерения ввести общеизбирательное право. Всеми средствами – подчас и далеко не симпатичными – старается он вселить своим приверженцам веру в фактическое могущество

созданного им движения. И преувеличенные успехи, и в особенности средства двусмысленного характера, пущенные им в ход, должны были неминуемо ввести его слушателей в заблуждение. Здесь можно было бы напомнить Лассалю его собственные слова: «Ведя *сильную* игру, можно играть в *открытую*». Не только «можно играть», но и *должно*, – прибавим мы. Это, конечно, отлично понимал и сам Лассаль. Но что же ему оставалось делать? Он напрягся в высшей степени, собрал все свои немалые силы, чтобы «штурмом» завоевать народные массы, вызвать в них самосознание и готовность идти в бой. Однако опыт показал ему, что это не достигается так скоро. Получились результаты, сами по себе прекрасные, но далеко, далеко не такие, какие *нужны* были Лассалю, каких он *ожидал*. Предстояла долгая, кропотливая, упорная организационная работа. А для этой работы он не был создан – ни по своему темпераменту, ни по уму. Темперамент его был слишком бурный, огненный, а умственные силы – слишком велики, чтобы он мог отдаться такой работе и найти в ней хоть какое-нибудь удовлетворение. «Я понимаю политику как деятельность *настоящей минуты*», – писал он графине. Как же выйти из этой ужасной дилеммы? И вот диктуемое темпераментом желание ускорить, обогнать медленный исторический процесс заставляет Лассалья пускаться в «дипломатию» и ожидать от нее существенных результатов для своего дела.

Само собой разумеется, что Лассаль не в состоянии был долго находиться в таком самообмане. Он скоро, как мы это увидим ниже, осознал всю глубокую затруднительность своего положения. Он понял, что его историческая миссия на этом поприще закончена или по крайней мере должна быть *прервана*, пока естественный ход событий, сама жизнь вновь не очистят для него достаточно широкой арены деятельности, которая в состоянии была бы поглотить *все* его силы.

Но то обстоятельство, что он *мог* так далеко зайти в своем заблуждении и самообмане, объясняется лишь тем упадком сил, страшным переутомлением, необычайной нервозностью и удрученным нравственным состоянием, в котором находился Лассаль в последние месяцы. Все это застилало прежнюю ясность взгляда и прозорливость трезво мыслящего агитатора. Это же физическое и душевное состояние вогнало его в глухой тупик, единственным выходом из которого оказалась трагическая катастрофа, так рано прервавшая его кипучую жизнь.

После своих речей в Лейпциге, Золингене, Бремене, Кёльне, Вермельскирхене и Ронсдорфе Лассаль, смертельно усталый и больной горлом, отправился в Эмс, где прожил до 25 июня. 27

июня он защищался в последний раз перед второй инстанцией дюссельдорфского суда по делу, упомянутому нами выше, и был осужден, как мы уже сказали, на шесть месяцев тюремного заключения. В середине июля Лассаль был уже в Швейцарии, на Риги-Кальтбаде, где надеялся поправить свое расстроенное здоровье.

Глава VI

Болезнь и душевное состояние Лассалья. – Елена фон Дённигес. – Встреча с нею на Риги. – Любовь. – Женева. – Измена. – Последние дни. – Дуэль. – Смерть. – Похороны.

Высокое, приподнятое настроение, овладевшее было Лассалем во время его последних триумфальных поездок, как мы уже знаем, далеко не отвечало его истинному душевному состоянию. Когда Лассаль оставался наедине со своим холодным сознанием, грезы самообольщения покидали его, и он с горечью начинал мало-помалу убеждаться, что ему не так скоро удастся повести за собой широкие народные массы, что не так-то легко прибить свой победный щит к вражеской твердыне, как это казалось ему вначале. Уже 14 февраля 1864 года он пишет:

«Как ни крепок мой организм, – я смертельно утомлен; мое возбуждение так сильно, что я совсем не сплю по ночам. Провалившись до пяти часов утра на кровати, я встаю с головной болью и совершенно истощенный... Безумное напряжение, с которым я в четыре месяца написал „Бастиа-Шульце“, имея при этом еще и другие занятия, и глубокое, мучительное разочарование, пожирающее внутреннее огорчение, причиняемое мне равнодушием и апатией рабочего сословия, то есть большинства его, – всего этого было слишком много даже и для меня! Я предаюсь *métier de dupe* (ремеслу глупца), и это тем больше огорчает и раздражает меня, что нельзя высказывать мое огорчение и раздражение, что надо вгонять его внутрь, часто даже утверждать совсем противоположное... И все же я не сложу своего знамени до тех пор, пока еще хоть какая-нибудь искорка надежды блещет на горизонте...»

Но, очевидно, и эта искорка стала мало-помалу угасать. Так, 28 июля 1864 года он пишет графине Гацфельд:

«Вы очень ошибочно судите обо мне, полагая, что я не могу довольствоваться некоторое время наукой, дружбой и красивой природой, что мне необходима политика. Я ничего не желаю так сильно, как вполне развязаться с политикой, чтобы уйти в науку, дружбу и природу. Я переполнен политикой и сыт ею по горло. Правда, я вспылал бы к ней большей страстью, чем когда бы то ни было прежде, если бы наступили *серьезные события*, если бы я получил власть или имел в перспективе средство приобретения ее, – такое средство, которое было бы к лицу мне, потому что без высшей власти ничего не сделаешь. А для ребяческой игры я слишком вырос и слишком стар. Оттого я в высшей степени неохотно принял на себя президентство (в „Общегерманском

рабочем союзе“). Я уступил только Вашим настояниям. И теперь это положение гнетет меня. Но как отделаться от него? Боюсь, сильно боюсь, что события будут развиваться медленно, очень медленно, а моя страстная душа не терпит этих детских болезней, этих хронических процессов. Я понимаю политику как деятельность *настоящей минуты*. Все другое можно делать, оставаясь и в научной области...»

Правда, эти строки Лассаль писал уже не только под воздействием того сознания и разочарования, о котором мы говорили выше, но и под влиянием пришедшей к нему любви, еще больше заставившей его думать об отдыхе, тихой пристани после бурных треволнений житейского моря. Но женщина, с которой Лассаль мечтал добраться до заветной пристани, оказалась коварной спутницей, и бедный пловец пошел ко дну...

Как читателю известно, Лассаль не питал расположения к жизни анахорета. Он любил женщин, и женщины отвечали ему взаимностью. Но среди немецких женщин Лассаль, как мы уже говорили, не находил для себя подходящей подруги жизни. Мы знаем, с какой страстью он «ухватился» за русскую девушку, с которой ему случилось познакомиться. Но ему не повезло. Наша соотечественница предпочла незатейливую идиллию русской деревни знаменитому иностранцу. А между тем душа Лассалья страстно жаждала личного счастья. «Мне нужно, – писал он в конце июля 1863 года Софье Солнцевой, – личное счастье, а у меня его вовсе нет. Я еще имею всех моих друзей, но ничего, что наполняло бы мне сердце, а я, кажется, достаточно глуп, чтобы нуждаться в этом. Итак, довольство ума – вот грустный удел моей души». Из этого письма мы видим, что любовь Лассалья к нашей соотечественнице тогда еще не угасла в нем настолько, чтобы он серьезно мог увлечься другой женщиной. Правда, уже в 1862 году Лассаль случайно познакомился в Берлине с дочерью баварского дипломата Еленой фон Дённигес. И если верить мемуарам этой госпожи («Мои отношения с Фердинандом Лассалем»), то она с первой встречи произвела на Лассалья такое сильное впечатление, что он тогда уже прозвал ее «своей судьбой», носился с ней «как с писаной торбой» и подумывал даже о женитьбе на ней. Но мемуары эти, написанные, кстати сказать, с целью собственной реабилитации, для чего приложен был и собственный портрет, и больше смахивающие на беллетристическое «сочинение», чем на правдивую передачу действительных фактов, – заслуживают весьма осторожного обращения с ними. В действительности же о таком безусловно глубоком впечатлении личности Елены на Лассалья вряд ли могла тогда идти речь. На вопрос приятеля, адвоката Гольтгофа, у которого Лассаль познакомился с Еленой,

сделает ли он ей предложение, – Лассаль отвечал: «Нет, этого я не сделаю. Наружность девушки мне очень нравится. Если она, при более близком знакомстве, понравится мне в такой же степени и внутренними качествами, то я не прочь был бы на ней жениться. Я могу только обещать, что порву с ней всякое знакомство, если она не понравится мне достаточно для женитьбы». После первого знакомства он встречается с Еленой еще раз два, – а он, наверное, сумел бы добиться более частых свиданий, если бы чувствовал в том глубокую потребность, – а затем совершенно перестал интересоваться ею, как и многими другими, мимолетно пленявшими его сердце. В течение 1863 года мы решительно ничего не слышим о Елене, хотя она до конца года жила в Берлине со своей бабушкой. После ее смерти Елена уехала к родителям в Женеву. Там постоянно жил ее отец, занимавший пост баварского дипломатического агента в Швейцарии. Лассаль, по-видимому, больше о ней и не думал – до их роковой встречи на горном курорте Риги-Кальтбаде.

Но что же такое представляла собой Елена фон Дённигес? Из слов Лассалья мы знаем уже, что она была красива. По крайней мере ему она нравилась. Лассаль называл ее не иначе как «златокудрой лисицей». Некий Карл фон Талер, знавший в то время Елену, описывает ее следующими словами: «Светлые золотисто-рыжие волосы обрамляли, точно огненной рамой, резко очерченное перламутрового цвета лицо, а глаза, отливавшие зеленоватым блеском, сверкали умом и чувственностью. Но при всей изящности форм ее фигура отнюдь не производила приятного впечатления, а смех ее звучал почти страшно. Она напоминала собой русалок северной саги, которые выплывают из морской пучины, с тем чтобы осчастливить и погубить смертных». Полученное Еленой воспитание отличалось беспорядочностью; оно, разумеется, было предоставлено исключительно гувернанткам. Отца Елена почти не знала, – так мало заботился он о своих детях. Матушка же посвящала все свое время светским забавам и любовным приключениям, просвещая свою дочку не только словом, но и примером, предугадывая ее будущее призвание – пленять мужчин. Елена очень быстро развивалась, и, когда ей было всего лишь двенадцать лет, мать с удовольствием демонстрировала свою «взрослую» дочь, чтобы казаться еще более интересной в глазах своих поклонников. Уже в этом раннем возрасте родители сватали Елену за какого-то дряхлого итальянского генерала, который был заочно очарован ее портретом. Мать яркими красками рисовала дочери те блаженства, какие сулит ей супружество со старым генералом. Однако впоследствии, когда жених предстал перед Еленой во всей

своей красе, она воспротивилась родительской воле. Впрочем, Елене не пришлось при этом выдержать особенную борьбу, так как родительский план отличался чересчур уж вопиющей чудовищностью, и ее бабушка решительно стала на сторону любимой внучки. Вообще же, Елену без всяких ограничений баловали в детстве, давали полную свободу ее капризам и эксцентричностям, чем только убивали в ней всякую силу воли и характера. Таким образом, о выработке «нравственного лица» у Елены не могло быть и речи. В сердечных делах, в сфере «страсти нежной» Елена, по ее собственным словам, всегда была «язычницей», то есть поклонялась многим «богам». В Берлине сердце ее пленял товарищ детства Янко фон Раковиц, сын какого-то валашского князя, бывший немного моложе Елены. У него были черные глаза и смуглый цвет лица, и Елена называла его своим «мавританским пажом». Но, очутившись в Италии, куда привела отца дипломатическая служба, Елена влюбилась в одного русского моряка. Однако эта «любовь» была непродолжительна, и Янко считался как бы официальным обладателем ее сердца, так что бабушка Елены, умирая, призвала к себе девятнадцатилетнего студента-князя и «завещала» ему свою внучку. Такое отношение к «мавританскому пажу» не мешало, однако, Елене увлечься новым предметом в лице Лассалья. Она заявила Янко, что нашла человека, за которым пойдет куда он захочет. Перебравшись в Женеву, она предавалась всякого рода увеселениям, приключениям и путешествиям по Южной Франции, Италии и Швейцарии. В мае 1864 года Елена заболела, и врачи посоветовали ей провести некоторое время в горах. По этой причине она была отпущена со знакомой английской семьей в окрестности Берна, где скоро и поправилась. Как раз во время пребывания там она получает от Гольтгофа известие, что Лассаль лечится на Риги. И нашей авантюристке приходит тотчас же фантазия развлечься внезапной встречей с Лассалем. С этой целью она, в сопровождении нескольких спутниц и спутника, направилась в Люцерн, чтобы оттуда взобраться на Риги.

Мы уже знаем то физическое и душевное состояние, в каком находился Лассаль в последние месяцы и дни перед отъездом его в Швейцарию. От этого настроения не освободила его и прекрасная швейцарская природа. Так, 22 июля он пишет графине:

«Но даже если бы погода была прекрасной, я бы немного имел от этого. Для того, чтобы наслаждаться, мне нужен человек! Я всему могу предаваться один, только не наслаждениям! Так, я уже в первый вечер, будучи на Кульме, страшно грустил, несмотря на прекрасный вид, открывавшийся передо мной. Я

думал о том, при каких различных обстоятельствах я бывал почти всякий раз на Риги! Впервые я поднимался сюда в 1850 году. Это было еще в дни моей бурной юности. Упрямо, как эти вечные вершины гор, глядел я тогда в даль жизни. Затем я часто бывал здесь вместе с Вами – с той, которая так гармонично дополняет мое существо. Потом один раз с Л. в счастливейшем настроении духа, вспоминая которое, я еще и теперь завидую себе. Потом однажды с родными, с моим вернейшим другом – с моим бедным отцом, которого теперь нет в живых! Вы были, за исключением первого раза, постоянно со мной! А теперь я один здесь, как заброшенный сирота, лежу на зеленой лужайке, думаю о переменчивости всего земного и „блеске прошедших времен“! Я чувствую, будто все существование мое сузилось и стало беднее, потому что я теперь никого при себе не имею, между тем как прежде всегда был кто-нибудь со мной, а часто и многие, увеличивая мое наслаждение. Я не должен путешествовать один. Я не создан для этого. К тому же присоединяются всякие тревожные мысли, поводов для которых слишком достаточно. *Короче, мрачность моя находится в полном расцвете...*»

В таком же настроении сидел он, спустя два дня, в своей комнате, занятый делами «Союза», как вдруг ему докладывают, что его спрашивает какая-то дама. Лассаль вышел и увидел несколько всадниц, среди которых он тотчас же узнал Елену. Вместе с компанией Лассаль отправился на вершину Риги, чтобы, переночевав там, встретить восход солнца. Эта внезапная встреча с Еленой, ее близость среди чудной июльской природы в одном из очаровательнейших уголков мира подействовали опьяняющим образом на разбитые, усталые нервы Лассалья. Но недаром же наша «русалка» выплыла из «морской пучины». Она, конечно, пустит в ход все свои чары, чтобы если не осчастливить, то погубить «смертного» Лассалья. В нем пробуждается старое мимолетное увлечение Еленой. В нем загорается чувство любви к ней. Он объясняется в своем чувстве; он просит ее руки. Наша героиня, как это водится, ответила не сразу, но из Берна – тотчас же по возвращении с прогулки, то есть через несколько часов после их разлуки, – Елена послала ему утвердительный ответ. Она извещала Лассалья, что решилась ради него «убить холодной рукой верное сердце» ее прежнего жениха, – сердце, «преданное ей истинной любовью»... «Она хочет быть и будет женой» Лассалья. Она готова бежать с ним, «своим царственным орлом», «своим господином», «своим другом-сатаной», если родители воспротивятся их союзу. Она хочет, чтобы это дело было покончено «как можно скорее». Но Лассаль, очевидно, никак не ожидал, что все это примет такой быстрый оборот. Прежде чем

это письмо было получено им, он, как бы не желая огоршить графиню, а постепенно приготовить к предстоящему, спокойно описывает свою встречу с Еленой. Он называет визит последней «любезностью», на которую он также намерен ответить «любезностью», в связи с чем он обещал Елене приехать в Женеву между 15-м и 25-м августа. Он приглашает графиню приехать туда же, чтобы увидеться с Еленой и познакомиться с ней. Но, получив согласие Елены, Лассаль пишет графине, что «дело принимает решительный оборот» и «отступление» для него «уже невозможно». 29 июля, то есть на четвертый день после встречи в Риги, Лассаль был уже у Елены, в Ваберне, близ Берна, где она жила. Елена повторяла свои клятвы в верности и продолжала настаивать на том, чтобы Лассаль как можно скорее закончил дело. Она написала графине письмо, называла ее второй матерью и заочно целовала ее руки. Казалось, что она была непоколебима в своем решении. Но Лассаль, знавший бесхарактерность Елены, опасался, как бы она не спасовала перед первым натиском родителей, что крайне осложнило бы дело. Он писал об этом графине:

«Единственный, но огромный ее недостаток – отсутствие воли. В ней нет и следа воли. Само по себе это, разумеется, большой порок. Но если бы мы поженились, то отсутствие воли, быть может, перестало бы оставаться пороком. У меня достаточно воли для двоих. Елена была бы в моих руках, как флейта в руках артиста. Но сам брак будет сильно затруднен этим бессилием воли»... «Личность Елены, – пишет он в другом письме, от 2 августа, – безусловно подходит к моим требованиям, она сильно меня любит и, что безусловно необходимо мне, совершенно тонет в моей воле!»

Эта преждевременная и притом филистерская идеализация Елены привела к печальным последствиям.

Лассаль условился с Еленой, что 3 августа она возвратится в Женеву, а он последует за ней четырьмя часами позже. Дома она не должна была упоминать о браке с ним, а только сообщить, что встретилась на Риги с Лассалем и что последний обещал посетить ее родителей. Лассаль рассчитывал лично, при помощи своего «бурного красноречия», подействовать на родителей Елены и добиться ее руки. Но Елена разрушила планы Лассалья. Воспользовавшись веселым настроением матери по поводу помолвки младшей дочери с графом Кейзерлингом, Елена выболтала матери решительно все. Мать ударилась в слезы и ни за что не хотела и слышать о браке Елены с «таким человеком, который был замешан в какую-то историю „со шкатулкой“ – особенно теперь, когда семья породнилась с сиятельным

человеком.» Госпожа Дённигес передала все мужу, и тот разразился бешеными ругательствами, грозя дочери проклятием. Он кричал, что не потерпит этого брака с «плутом Лассалем», и запретил дочери выходить из дому.

Елена тотчас же написала Лассалю обо всем происшедшем. Это письмо она отправила с горничной в пансион, где должен был остановиться Лассаль. Но, спустя некоторое время, она улучила удобную минуту и сама, никем не замеченная, пробралась к пансиону, куда как раз подъехал Лассаль и где стояла и горничная с письмом. Лассаль, увидев ее, побледнел и, не здороваясь, спросил: «Ради Бога, что случилось?» Войдя в его комнату, она, взволнованная, упала к его ногам, прежде чем дошла до стула. Лассаль, подняв ее, перенес на кровать. Она дала ему прочесть свое письмо, воскликнув: «Я несчастнейшая из смертных! Я здесь – твоя вещь, делай со мной что хочешь...» Лассаль не догадался о важности минуты. Вместо того чтобы из данного положения найти решительный выход, он надумал прежде всего изменить сами обстоятельства. Оскорбленный до глубины души поведением ее родителей, он во что бы то ни стало хотел заставить их согласиться на их брак. Он не собирался бежать во Францию, как этого теперь хотела Елена, чтобы не компрометировать ее и себя, прежде чем не испытаны любые другие средства. С этой целью он повел Елену к г-же Роньон, приятельнице семьи Дённигес, с тем чтобы та приютила у себя на время Елену. Но вскоре туда пришла и мать Елены. Увидев Лассалья, жена дипломата разразилась безобразной бранью, но Лассаль оставался совершенно спокойным. «Вы чудовище, вы украли мою дочь!» – вопила она. В ответ на это Лассаль уговорил Елену возвратиться к матери. «Ты сделаешь это для меня, – сказал он твердо. – Итак, милостивая государыня, я возвращаю вам вашу дочь. Послушайте: я, который мог сделать с вашей дочерью все что бы захотел, я возвратил вам ее, – хотя и на короткое время. Она идет с вами только потому, что я этого хочу: не забывайте этого никогда и – прощайте!» Он простился с Еленой и уговаривал ее не поддаваться и потерпеть, пока он сам все уладит. Мать также удалилась, но вскоре появился отец Елены с длинным охотничьим ножом, похожий на взбесившегося зверя. Он оскорблял всех непечатными словами, в том числе и г-жу Роньон, не пускавшую его к себе в дом в таком виде. Он ревел и неистовствовал. Елену же он поволок за волосы через улицу к своему дому, охраняемому призванной им полицией. Затем он запер ее в комнате, заколотил окна и пригрозил держать так до тех пор, пока она не одумается.

Эта дикая расправа отца с Еленой привела к тому, что дело

приняло весьма печальный для Лассалья оборот. «Флейта» собиралась издавать совершенно неожиданные звуки. Впрочем, Елена сама называла себя «вещью», и Лассаль знал об этом. Но в решительную минуту его покинуло знание людей. Он считал таких ничтожных людей, как Дённигесы, способными хотя бы на минуту выйти из обычной атмосферы нелепого дворянского гонора и предрассудков и разыграть роль родителей, которые, под влиянием его джентльменского поступка и обаянием его личности, внезапно озарятся светом добродетели и раскаяния за свой слишком опрометчивый поступок. Дённигесы, разумеется, были далеки от этого. Они знали свою дочь лучше, чем Лассаль, и были уверены, что их насилие, в союзе с бесхарактерностью Елены, принесет им верную победу. И в самом деле, наша героиня не замедлила доказать, насколько расчет их был верен. В своих воспоминаниях, написанных вообще-то с большим цинизмом, княгиня фон Раковиц, урожденная фон Дённигес, объясняет это своим чувствительным сердцем, не устоявшим будто бы перед мольбами и слезами родных, – того самого отца, который только что приводил в послушание свою взрослую дочь безобразным диким насилием над ней.

Лассаль написал два письма одно за другим, прося у Дённигеса свидания. Но надменный и трусливый «дипломат» не счел нужным даже ответить ему. И Лассалю очень скоро пришлось понять, что, возвращая Елену ее родителям, он разыграл в сущности «великодушную и мещански-приличную комедию». Он не жалел для себя беспощадных эпитетов за сделанную им ошибку. «Никогда лев в бешенстве не бичевал себя так своим хвостом, как я бичую себя упреками», – писал он. Но чем грознее представало перед ним сопротивление Дённигесов, тем лихорадочнее росла в нем страстная любовь к Елене. Мысль о ней, о ее предполагаемых страданиях не давала ему покоя ни днем, ни ночью. Магической паутиной она все плотнее облекала его существо, его фантазию, его рассудок. Это была уже не живая, настоящая Елена, а какой-то созданный воображением образ бесконечно страдающего существа, с пламенным нетерпением ждущего своего избавителя. Лассаль был поистине тем влюбленным, о котором Ги де Мопассан говорил однажды, что он любит не женщину, а свое представление о ней. Лассаль никогда раньше не любил так Елену, как с той минуты, когда она скрылась от него за крепкой стеной родительского дома. И вот он вступает в борьбу не на жизнь, а на смерть, чтобы отвоевать ее обратно. Он начинает настоящую войну со всеми допускаемыми на войне средствами. Он готов силой освободить Елену. Лассаль окружает дом Дённигеса наемными соглядатаями, чтобы следить

за тем, что происходит внутри. Он пускает, наконец, в ход целую плеяду своих знатных и знаменитых друзей и поклонников, чтобы заставить Дённигеса освободить Елену. Полковники, генералы, графини, княгини, академик Бёк, епископ Кеттелер, Рихард Вагнер, баварский министр иностранных дел, чуть ли не сам баварский король – одним словом, Лассаль приводит в движение все средства, которыми располагают он и его друзья, чтобы добиться намеченной цели. В этой романтической истории, тянувшейся не более месяца, как солнце в дождевой капле, отразилась сущность кипучей натуры Лассалья. Для достижения своей последней цели он вложил всю свою страсть, энергию, все свое существо, целиком, без раздвоения, без колебаний, без тревоги о том, куда это может привести: к победе или к смертельному поражению. Но, увы! В то самое время, когда он с напряжением всех своих сил добивался освобождения Елены, сама Елена была уже на стороне отца. Она, на преданности которой Лассаль, точно на скале, строил теперь все свои выстраданные надежды, оказалась бездушной снежной глыбой, лежащей на склоне высокой горы и быстро скатывающейся в глубокую пропасть при первом же толчке...

3 августа происходила грубая расправа с Еленой, а 4-го – она уже смирилась. Родители устроили по этому поводу пир горой. Музыка гремела, шампанское лилось рекой, а «нежный» Дённигес превозносил Елену как примернейшую дочь в мире. На всякий случай Дённигес, под предлогом болезни, отправил Елену 6 августа в Бэ, а у швейцарского правительства хлопотал – без успеха, конечно, – о высылке Лассалья, выдавая его за шпиона и агента Бисмарка. Через день после этой истории в доме госпожи Роньон Лассалья посетили родственники Елены, граф Кейзерлинг и доктор Арндт, требуя от него немедленного выезда из Женевы, так как иначе Дённигес в качестве дипломатического агента причинит ему большие неприятности. Лассаль с негодованием отказал им в этом. На другой день те же посетители предъявили ему записку Елены следующего содержания: «То, что скажет Вам мой родственник, – истина. Дитя». Родственник же утверждал, что Елена вполне раскаялась и Лассалья больше знать не хочет. Лассаль отверг эту записку как результат насилия над Еленой. Он продолжал слепо верить, что Елена предана ему. Он писал ей письма, в которых утешал ее и умолял оставаться непреклонной. Лассаль объяснял ей, что она уже совершеннолетняя и просил ее письменно заявить местному адвокату о притеснениях отца. В то же время он подробно сообщал ей свои планы ее освобождения. Но письма его не доходили до Елены. Мучительное состояние Лассалья в эти ужаснейшие для него дни особенно ярко

отразилось в его многочисленных письмах к графине Гацфельд и адвокату Гольтгофу. Предчувствие, что история завершится трагически, пронизывает все эти письма, от первого до последнего. Уже 4 августа он писал Гольтгофу: «Я решился, будь что будет, ни перед чем не отступать. Может произойти и, вероятно, произойдет величайшее несчастье, потому что ничто меня не остановит». Полковника Рюстова он вызвал к себе из Цюриха, прося его «о чисто личной услуге, но как деле *жизни и смерти*». В своем страшном горе Лассаль дошел до слез.

«Я так несчастлив, – писал он графине, – что плачу в первый раз за пятнадцать лет... Только Вы знаете, что это значит, когда я, железный, извиваюсь в слезах, как червь! До чего я дошел! Я, всеобщий советник и помощник, не могу себе дать совета, беспомощен и нуждаюсь в других. Моя глупость убивает меня... Если я не добьюсь своего, – а в этом я сильно сомневаюсь, – я сломлен навсегда и со всем покончил. Может быть, еще более, чем потеря девушки, гложет меня моя собственная глупость...»

В письме к Гольтгофу от 5 августа он писал, что Елена ставила ему в Берне *условие*: испытать все мирные средства – и уверяла, что ввиду ее «твердости» никогда не будет поздно прибегнуть к другим чрезвычайным средствам.

«Я хотел, – пишет он, – по меньшей мере избавить ее от упрека сказать самой себе, в случае, если бы она сделалась моей женой путем похищения: „Это могло бы уладиться и *иначе*“.» В другом письме он мотивирует возвращение Елены еще и тем, что она, придя к нему в комнату, рассказала среди прочего, что мать узнала уже «о неизбежном» и умоляет за нее отца. «Я рассчитывал, что все это приведет к мирной развязке. Если бы мне не сделали этого сообщения, я никогда не возвратил бы Елену матери... Нерешительность, надежда на сердце матери, желание Елены избежать большого скандала погубили меня». В том же письме, от 9 августа, он пишет еще, что на него «со вчерашнего вечера снизошло полнейшее спокойствие и бесчувственность», у него «осталась только ледяная, обратившаяся в тело, воля...» «Со спокойствием шахматного игрока, – говорит он, – я доведу до конца эту партию... Я дал честное слово пустить себе пулю в лоб в тот день, когда решу, что Елена для меня потеряна. Я прямо дал в этом честное слово моим друзьям...»

Лассаль просил Гольтгофа убедить академика Бёка, чтобы тот заступился за него перед Дённигесом, который принимает его «за какого-то цыгана» и с которым Бёк был хорошо знаком. «Нет человека, который знал бы меня лучше Бёка, – писал он. – Кроме того, он меня любит и знает, что я могу еще послужить своему

народу и сделаю это. Он не захочет, чтобы в этой пустой истории я погиб, как Пирр, которого убила черепицей старуха, после того как он победоносно окончил все войны». Лишь 9 августа, вечером, Лассаль донесли, что Елена увезена из Женевы, но куда – неизвестно. В его душу закрадывается подозрение, что она, быть может, ему изменила. Но это нисколько не охладило его страсти. «Если бы она была в состоянии отказаться от меня... – писал он вслед за тем Гольтгофу, – в этой мысли целый ад! Я не могу утешать себя размышлениями, что она в таком случае недостойна меня. Я люблю ее слишком, слишком, слишком страстно, чтобы утешаться абстракциями. Разве не большая слабость уже в том, что я не имею от нее ни строчки, ни слова? Может ли она быть настолько беспомощна, чтобы не иметь возможности подать о себе весточку?» Сжигаемый страстью, Лассаль изливал свои муки и в письмах к самой Елене. «Невозможно, – писал он ей, – чтобы было верно то, что мне сказали, будто ты отказалась от меня. Только обман, что ты несовершеннолетняя, мог заставить тебя пойти на такую уступку, на такую хитрость. Невозможно, чтобы все твои клятвы были лживы, чтобы твоя слабость доходила до таких размеров. Ты не имеешь права нарушать те обещания, которые мы друг другу дали. Не имеешь права так позорно расплачиваться за ту деликатность и предупредительность, с которой я тебя возвратил твоей матери. Не имеешь права меня компрометировать, вовлекиши в дело, в которое я вступил только в уверенности, что твое решение неизменно. Только страдание нарушило то сравнительно флегматичное состояние, которое счастье обыкновенно наводит на меня, и моя любовь выросла до исполинских, страшных размеров. Елена! Если б ты действительно могла не оставаться верной мне и могла отказать мне, несмотря на клятву, то была бы недостойна, чтобы я из-за тебя страдал. Успокой меня единственной строчкой! Мысль, что ты отказываешься от меня, приводит меня почти к сумасшествию». Не получив и на это письмо никакого ответа, Лассаль еще раз пишет Елене накануне своего отъезда в Германию: «Сохрани мужество!.. Если ты останешься верной мне, нет такой силы на земле, которая могла бы разлучить нас. Я ни о чем больше не думаю, ничего больше не делаю, что не имело бы отношения к тебе. Торжествуй! Моя любовь к тебе превосходит все, что поэзия и народные сказания когда-либо пели о любви. Будь тверда *et je me charge du reste* (а остальное я беру на себя). Не письменному, а только твоему собственному устному заявлению, что ты отрекаешься от меня, я буду верить...»

12 августа Лассаль отправился в Германию, чтобы «поискать друзей и, подняв на ноги ад и небо, добиться от баварского

короля посредничества перед отцом». «Вы посмеетесь над этим сказочным замыслом, – писал он при этом Гольтгофу. – Я сам смеюсь над ним. Но где разумные меры бессильны, остаются романтические». Несколько позже он в лихорадочном состоянии своем писал, что выхлопочет у короля «прямой приказ Дённигесу» отдать за него Елену. В Карлсруэ Лассаль встретился с графиней Гацфельд. Думая, что его принадлежность к еврейскому вероисповеданию является главным препятствием к браку с Еленой, он просил графиню отправиться к майнцскому епископу Кеттелеру, чтобы заявить ему о желании перейти в католичество и просить его заступничества при баварском дворе. Кеттелер с большой благосклонностью отозвался о Лассале, о его стремлениях, сожалея только о том, что под ними нет прочного фундамента религии. Он надеялся, что великой силе католической церкви удастся обратить Лассалья на путь истины. Но надеждам почтенного патера на спасение души Лассалья не суждено было сбыться. В Мюнхене, куда бледный и измученный Лассаль приехал в середине августа, оказалось, что Дённигес и его дети – не католики, а протестанты. Но в Мюнхене Лассаль обеспечил себе полное содействие баварского министра иностранных дел фон Шренка, с большой любезностью принявшего его. У короля же, за отсутствием его, Лассаль побывать не удалось. Но, занятый своими ходатайствами и хлопотами, Лассаль получает вдруг известие от Гольтгофа, что Елена написала ему письмо из Бэ, в котором она сухим, деловым тоном заявляет о своем полном отречении от Лассалья. Гольтгоф утешал его, что письмо написано не иначе как под диктовку отца. В ответ на это известие Лассаль написал Гольтгофу письмо от 18 августа, из которого видно, что он стал сомневаться в твердости Елены, но все-таки утешал себя надеждой, что Елена все еще действует по принуждению отца и что дело поправится, как только Дённигес почувствует силу его связей и влияния. Но эта надежда была уже ничтожна в сравнении с овладевшим им отчаянием и горем. 19 августа Лассаль написал по всем адресам около шестидесяти писем, в которых он вулканическим потоком изливал свою глубокую скорбь.

«Если эта женщина, – писал он одному из друзей, – пренебрежет тем, что я так неслыханно мучаюсь, тогда опозорено все, что носит название человека. Сердце, твердое, как скала, которое так любит и так страдает, как мое, – и так разорвать!.. Короче, если я теперь погибаю, то это уже не от грубой силы, которую я сломил; если она перед нотариусом скажет „нет“, вместо того чтобы сказать „да“ и пойти со мной, то я погибаю от безграничной измены, от неслыханного непостоянства и

легкомыслия женщины, которую я так непозволительно, безмерно люблю. Это действительно выходило бы за всякие пределы, если бы я только для того уговорил министра иностранных дел назначить посредническую комиссию и вызвать ее к нотариусу, чтобы она осмеляла меня своим отказом...»

Елене же он писал следующее:

«У меня исполинские силы, и я их утысячю, чтобы завоевать тебя. Никто в мире не в состоянии оторвать тебя от меня, если ты останешься тверда и верна. С тех пор, как я начал сомневаться в этом, я несчастнейший человек. Я ежечасно испытываю тысячекратную смерть. И все-таки это невозможно! Ты не можешь изменить мне, – человеку, как я, – человеку, который тебя так безгранично любит. Я прикован к тебе алмазными цепями. Я страдаю в тысячу раз больше, чем Прометей на скале. Но если ты окажешься вероломной, несмотря на свои клятвы и несмотря на мою любовь, тогда человеческая природа опозорена, тогда пришлось бы отчаяться во всякой правде, во всякой верности, тогда было бы ложью все, что существует... Напиши мне хоть одно слово, что ты остаешься тверда и верна, и я весь закален с головы до ног...»

В тот же день Лассаль получил известие, что Елена возвратилась в Женеву в сопровождении семьи и Янко, который приехал по вызову Дённигеса и с которым, как он догадывался, родители собирались обвенчать Елену. Истинное положение дела стало выясняться. Дённигес снял осаду со своего дома, и все было приведено в «полный порядок». Скрываться было уже незачем. Поверенный Лассалья, полковник Рюстов, мог теперь добиться свидания с Еленой в присутствии родителей, и в ответ на приведенное нами последнее письмо Лассалья она с полнейшим хладнокровием написала ему следующее заявление:

«Его высокоблагородию господину Лассалю. После того как я чистосердечно и с глубоким раскаянием в совершенных мною поступках помирилась с моим женихом, Янко фон Раковицем, любовь и прощение которого я снова возвратила себе; после того как я известила об этом также и Вашего берлинского поверенного г-на Гольтгофа, прежде чем получила его письмо с увещаниями, я объявляю Вам совершенно добровольно и по глубокому убеждению, что о браке нашем никогда не может быть и речи, что я отказываюсь от Вас во всех отношениях и твердо решилась отдать свою любовь и верность моему жениху».

Рюстов передал Лассалю по телеграфу содержание ответа Елены. Отчаянию Лассалья не было границ. Он немедленно написал Елене 20 августа свое последнее трогательное письмо.

«Пишу тебе со смертью в душе. Ты, ты предаешь меня! Это

невозможно. Я не в состоянии еще верить в такое вероломство, в такое страшное предательство. Может быть, твою волю сломили на время, разлучили тебя с тобой же, но немыслимо, чтобы это была твоя истинная, постоянная воля. Ты не могла в такой крайней степени отбросить от себя всякий стыд, всякую любовь, всякую верность, всякую истину. Ты опозорила и обесчестила бы все, что носит человеческий образ. Ложью было бы тогда всякое лучшее чувство, и если ты солгала, если бы ты была способна дойти до такой крайней степени падения, нарушить такие святыне клятвы и разбить самое верное сердце, тогда под луной не было бы больше ничего, во что человек должен был бы еще верить. Ты наполнила меня желанием бороться за тебя, ты требовала, чтобы я испробовал сперва все приличные средства, вместо того чтобы увести тебя из Ваберна, ты клялась мне устно и письменно самыми священными клятвами, что всегда будешь ждать и останешься тверда, ты мне в последнем письме (из Ваберна) объявила, что ты не что иное, как любящая меня женщина, и никакая сила на земле не в состоянии изменить твоего решения. И после того, как ты насильственно привлекла мое верное сердце, которое, раз отдавшись, отдалось навсегда, ты с язвительной насмешкой повергаешь меня через четырнадцать дней в пропасть; как только началась борьба, предаешь меня и убиваешь меня? Да, тебе могло бы удасться то, что никогда не удавалось судьбе, ты разбила бы, разрушила самого стойкого человека, который без содрогания подвергся всем внешним бурям. Этой измены я не в состоянии был бы преодолеть! Я внутренне был бы убит, ты заслужила бы мою страшнейшую ненависть и презрение всего света. Елена, верный своему слову „je me charge du reste“, я остаюсь здесь и делаю всё, чтобы сломить противодействие твоего отца. В моем распоряжении прекрасные средства, которые наверное не могут остаться без результата. Если же они не приведут к цели, то у меня есть еще тысячи и тысячи средств, и я обращаю в прах все препятствия, если только ты останешься верна. Ибо ни моя сила, ни моя любовь не имеют границ: je me charge du reste! Борьба ведь только что началась, малодушная! В то время как я остаюсь здесь и уже достиг невозможного, ты меня там предаешь за лживые речи другого. Елена! Моя судьба в твоих руках! Но если ты меня уничтожишь этой мерзкой изменой, которую я не смогу преодолеть, то пусть моя участь падет на тебя и мое проклятие преследует тебя до гроба. Это проклятие самого верного, изменнически разбитого тобой сердца, с которым ты играла самую позорную игру. Такое проклятие попадает в цель.

Невзирая, однако, на полученный им 21 августа подлинный отказ Елены, Лассаль *все еще* не мог отрешиться от мысли, что

она действует не по собственной доброй воле, а по принуждению. Он был как загипнотизированный.

24 августа Лассаль возвратился в Женеву. По его ходатайству министр Шренк послал своего официального посредника к Дённигесу. Лассаль тщетно добивался свидания с Еленой. С отцом ее у него было свидание, ни к чему, конечно, не приведшее. Графиня Гацфельд, приехавшая в Женеву, также не могла увидеться с Еленой. Чтобы вывести наконец дело на чистую воду, Лассаль настаивал на свидании с Еленой в присутствии нотариуса и кого-либо из ее родственников, где она заявила бы ему устно свое отречение, если она от него действительно отказывается. Для передачи этого требования Лассалья, к Дённигесам отправились полковник Рюстов и поверенный баварского министра доктор Гепле. Но Елена вела себя в их присутствии самым вызывающим образом. С холодной насмешкой и наглой развязностью она отклонила личную беседу с Лассалем. «К чему это? – возразила она. – Я знаю, чего он хочет. Мне надоела вся эта история». Когда ей напомнили о данных ею клятвах, она возразила с насмешкой: «Клятвы?! Я не даю клятв!» На замечание, что эти ответы резко противоречат совершенно исключительным ее поступкам, например тому, что происходило в пансионе, где остановился Лассаль, она отвечала не задумываясь: «Да, это правда; но это случилось лишь в первую минуту...» Подробности отчета, подписанного обоими посредниками, ведшими эти переговоры с Еленой, поражают крайним бесстыдством последней. Ни крупинки чувства собственного достоинства, ни малейшей искры чувства к человеку, которого она так недавно называла своим «господином», своим «царственным орлом». Что ей Гекуба? Что ей за дело до Лассалья, которого каждое ее слово должно было поразить в самое сердце? Возле нее был Янко. Она была им «очарована». Она блаженствовала. Об остальном она и знать ничего не хотела.

И это – та самая женщина, которая четырнадцать лет спустя, со свойственным ей цинизмом, объявляет миру, что она была очень довольна вестью о дуэли, так как смерть Янко казалась ей неминуемой. Лассаль убьет его непременно, и тогда поднимется в доме суматоха, во время которой ей удастся убежать... к Лассалю. Она уже будто бы приготовилась бежать и простилась с Янко – накануне дуэли – «не без некоторого сострадания», как она выражается. Но спустя полгода эта же особа была в супружеских объятиях того самого Янко, «от руки которого пал ее „царственный орел“ и которому она в тот критический день так сильно желала тяжелой или смертельной раны». Через несколько

месяцев наша княгиня Раковиц была уже вдовой... Сделавшись затем актрисой, она играла, между прочим, на сцене бреславльского театра, была узнана и освистана, что еще раз навело ее на мысль оправдаться перед общественным мнением. Отсюда – упомянутая нами книжка с собственным портретом. Выйдя вновь замуж за одного актера, Елена вскоре с ним развелась. «Старый мир» становится для нее тесен, она отправляется в новый – в Америку. Затем Елена опять вступает в брак, на сей раз с одним нашим соотечественником. После этого она делается «романисткой»: пишет роман «Графиня Вера», историческая миссия которого, как нам передавали, – мы лично не имели удовольствия его читать, – очертить графиню Гацфельд и превознести до небес «царственного орла»...

Посредники передали Лассалю результаты своих переговоров с Еленой и заявили, что было бы величайшим несчастьем, если бы он и теперь еще продолжал думать о женитьбе на ней. Они уговаривали его раз и навсегда забыть о недостойной женщине... Любовный жар покинул наконец Лассалья. С внешним спокойствием он выслушал отчет своих друзей. Рихарду Вагнеру он телеграфировал: «Я отказался от дальнейших попыток вследствие безусловной дрянности и безнравственности особы. Благодарю за добрые намерения. Не предпринимайте ничего больше». Но временное спокойствие вскоре уступило место безумному бешенству. Бесконечная досада за тщетно потраченные усилия наполняла его душу. Точно лев в клетке, метался он в своей комнате, оглашая воздух неистовыми проклятиями. «Меня осмелились так оскорбить! – стонал он. – Надо мною дерзнули так издеваться! Я должен отомстить, отомстить!»... И разочарованный, предательски обманутый, физически переутомленный, надорванный и почти до невменяемости возбужденный Лассаль прибегает к дуэли как к орудию мести. Ему хочется наказать Дённигеса за то, что он – Дённигес. Он хочет наказать Янко за то, что он охотно играл роль подставной марионетки, плененной телом Елены без всякого внимания к ее нравственному ничтожеству. Что за дикость мстить таким людям и притом таким чисто каннибальским способом! А между тем как бы мы ни смотрели на этот последний шаг Лассалья, мы должны признать, что он был для него *лично* – в том состоянии, в каком этот человек находился, – неизбежен, неумолим, как фатум, как последний акт в жизненной драме цельной, великой натуры, которая в страшной погоне за личным и вполне заслуженным счастьем пала жертвой «жестоких нравов», среди которых возможно лишь пошлое счастье, достигаемое пошлыми средствами. Тут личный конфликт поднимается на

высоту общественной трагедии...

В тот же день, то есть 26 августа, Лассаль послал вызов отцу Елены, требуя удовлетворения за нанесенные ему оскорбления, причем он отказывался иметь больше дело с его «бесстыдной девой», брак с которой был бы для него одним бесчестьем. Копию этого вызова Лассаль послал и Янко, предоставляя ему, как он прибавил, беспрепятственно продолжать играть ту роль, какая была отведена ему в этом деле. Храбрый «дипломат» ответил на вызов Лассалья немедленным бегством в Берн. Но до бегства он и жена его дали Янко почувствовать, что он обязан-де смыть оскорбление, нанесенное семье Лассалем, и Янко послал, в свою очередь, ему вызов. Хотя полковник Рюстов советовал Лассалю не принимать этого вызова, пока он не справится с Дённигесом, использовавшим Янко в качестве своего слепого орудия, Лассаль решительно отказывался медлить. Друзья тщетно умоляли его отложить дуэль. Иоганн-Филипп Беккер, друг Карла Маркса и приятель Лассалья, отказался быть его секундантом, не желая, как он говорил, участвовать в дуэли, в которой Лассаль ставил свою драгоценную жизнь на одну доску с жизнью ничтожного человека. Его заменил генерал граф Бетлен. Вторым секундантом был полковник Рюстов. Накануне дуэли, которая была назначена на 28 августа, Рюстов убеждал Лассалья поупражняться в стрельбе. Но Лассаль счел это совершенно лишним. «Пустяки!» – ответил он. Зато Янко сделал в этот день полтораста пробных выстрелов в одном стрелковом заведении.

Накануне дуэли Лассаль привел в порядок свои дела и написал завещание. В этом завещании он обнаружил трогательное внимание к близким друзьям и знакомым. Многим из них – Рюстову, Лотару, Бухеру, Гольтгофу, поэту Гервегу, своему секретарю и другим лицам – он завещал значительную материальную поддержку. Графине Гацфельд – пожизненную ренту в тысяча двести рублей ежегодно. Одному он завещал свою библиотеку, другому (Л. Бухеру) – право на издание своих сочинений, третьему – свою серебряную посуду и т. д. Своим преемником в президенты «Союза» он назначил некоего Б. Беккера, однофамильца вышеупомянутого, – личность, как и большинство друзей Лассалья, не оправдавшую его доверия. «Союзу» Лассаль завещал ежегодную сумму в пятьсот рублей на цели пропаганды и советовал неуклонно держаться «развернутого им знамени», которое, написал он, приведет его приверженцев к победе.

В продолжение всего вечера, накануне дуэли, Лассаль находился в «железном» спокойствии. На следующее утро Лассаль тихо спал, когда его в пять часов утра разбудил ночевавший с

ним в одной комнате Рюстов. Увидев на столе пистолет, он схватил его и, бросившись Рюстову на шею, сказал: «Вот как раз то, что мне нужно». Однако по дороге к месту поединка Лассаль просил Рюстова устроить дуэль на смежной с Женовой французской территории для того, чтобы он мог оставаться после дуэли в Женеве и расправиться со «старым трусом». Он был уверен в счастливом исходе поединка. Но судьба решила иначе. На дуэли Лассаль получил опасную рану после первого же выстрела своего соперника. Рюстов удивлялся, как мог он еще выстрелить, смертельно сраженный пулей. Он был ранен в нижнюю часть живота, куда пуля вошла с левой стороны и вылетела с правой. На обратном пути Лассаль был очень спокоен, жаловался на боль лишь тогда, когда они ехали по мостовой. Твердым шагом поднялся он по лестнице, чтобы не испугать графиню. Рана была, как мы уже сказали, смертельная, и лучшие врачи, в их числе знаменитый хирург Бильрот, ничего не могли поделать. Еще три дня пришлось ему выносить невероятные страдания. «Когда он видел графиню, – рассказывает И. Ф. Беккер, – по лицу его пробегала улыбка, хотя его в это время терзала самая ужасная боль. Днем и ночью он ежеминутно спрашивал о ней, когда не видел ее перед собой. В его отношении к графине постоянно чувствовалась молчаливая просьба о прощении».

31 августа 1864 года, в семь часов утра, Лассалья не стало... «Юным умер он – Ахиллес на поле брани!» – писал К. Маркс безутешной «матери-другу», графине Гацфельд.

«Я бегло пересмотрел мою жизнь, – писал сам Лассаль в одном из предсмертных писем. – Она была велика, честна, смела, достаточно доблестна и блестяща. Будущее сумеет воздать мне должное...»

Трагическая кончина Лассалья как гром поразила его многочисленных друзей и поклонников. Его приверженцами овладела глубокая, почти религиозная скорбь о павшем вожде и учителе. Зато торжествовали его политические противники, «юлианы», которых он бичевал. У гроба Лассалья в Женеве собралось более четырех тысяч человек. Там были люди всех стран и всех наций, произносились горячие речи на всех европейских языках. По желанию графини, тело Лассалья было набальзамировано и отвезено в Германию. Она хотела провезти его в Берлин через все крупные города, в которых были его приверженцы, чтобы таким образом и смертными останками Лассалья сослужить службу тому делу, за которое он так упорно боролся. Но выполнить этот план ей удалось лишь отчасти. В Кёльне, куда гроб привезли на пароходе по Рейну, в дело

вмешалась прусская полиция, и, по желанию матери Лассалья, он был направлен прямо в родной Бреславль, где и похоронен на еврейском кладбище, в семейном склепе. На могиле, за пышной пальмой, посаженной его приверженцами к двадцатипятилетней годовщине его смерти, – виднеется на скромном камне надпись, составленная его другом академиком Бёком: *«Здесь покоится то, что было смертного в мыслителе и борце Ф. Лассале»*.

1. *F. Lassale*. Die Philosophie Herakleitos Des Dunklen von Ephesos. Berlin, 1857.
2. *F. Lassale*. System der erworbenen Rechte. Leipzig, 1861.
3. «F. Lassalle's Reden und Schriften», mit einer biographischen Einleitung, herausgegeben von *E. Bernstein*. Berlin, 1892—1893, 3 Bände.
4. «F. Lassalle's Tagebuch», herausgegeben von *P. Lindau*. Breslau, 1891.
5. *Zander*. Jugenderinnerungen an F. Lassalle. – Gartenlaube, 1877.
6. «Романический эпизод из жизни Ф. Лассаля». – Вестник Европы, 1877, № 11.
7. Briefe von F. Lassalle an C. Rodbertus-Jagetzow. Berlin, 1878.
8. Briefe an H. Bülow von F. Lassalle. Dresden, 1885.
9. F. Lassalle's Leiden. Berlin, 1887.
10. *H. von Rakowitz*. Meine Beziehungen zu F. Lassalle.
11. *B. Becker*. Enthüllungen über das tragische Lebensende von F. Lassalle. Nürnberg, 1892.
12. *B. Becker*. Die Arbeiteragitation F. Lassalle's. Braunschweig, 1875.
13. *G. Brandes*. F. Lassalle, ein litterarisches Charakterbild. Leipzig, 1889.
14. *E. von Plener*. F. Lassalle. Leipzig, 1884.
15. *M. Kegel*. F. Lassalle. Stuttgart, 1890.
16. *A. Kohut*. F. Lassalle, sein Leben und Wirken. Leipzig, 1889.
17. *G. Gervinus*. Geschichte des XIX Jahrhunderts. Leipzig, 1856—1866.
18. *G. Adler*. Geschichte der ersten socialpolit. Arbeiterbewegung in Deutschland. Breslau, 1885.
19. *R. Meyer*. Geschichte des Emanzipationskampfes des 4. Standes. Berlin, 1881. B. I.
20. *F. A. Lange*. Die Arbeiterfrage. Winterthur, 1879.
21. *Bourdeau*. Le socialisme allemand. Paris, 1892.
22. *Kircup*. History of Socialism. London, 1892.

Примечания

исповедание веры (фр.)

ОПТОМ ($\phi p.$)

государственного переворота (*фр.*)

по преимуществу (*фр.*)

блестящий, удачный ход (*фр.*)

следовательно (лат.)

без лишних слов, без разговоров (фр.)

во славу правосудия (лат.)

«Здесь речь идет лишь о практической *переходной мере*, а не о теоретическом, принципиальном, окончательном решении социального вопроса, которого Вы сами ожидаете лишь через пять столетий», – пишет Лассаль в одном из своих писем к Родбертусу

букв. – для наследника престола, дофина (*лат.*)

смеющегося третьего (лат.)

«К критике политической экономии» (нем.)

Октроированное – жалованное, дарованное монаршей властью (*фр.*)